

АИБЕК

ДЕТСТВО

Повесть

Перевод Н. Е. Ивашева

Стихотворения в переводе Н. И. Татариновой

Глава первая

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ, ПЕРВОЕ ГОРЕ

В узеньком кривом переулке у старой расхлябанной калитки мой дед по отцу и его давний приятель — крупный, глуховатый старик с длинной бородой — ведут о чем-то неторопливую, нескончаемо-долгую беседу. Дед, маленький, щуплый, примостился на корточках, ткнув меж колен палку и прислонившись сутулой спиной к дувалу. Его приятель полулежит на земле, вытянув длинные волосатые ноги в поношенных, грубой кожи каушах и выставив на солнце богатырскую грудь. По переулку нет проезда ни конным, ни арбам, здесь нет обычного шума, уличной суеты. Редкие прохожие, сложив на груди руки, приветствуют стариков обязательным саламом. Те — один кто-нибудь или оба разом — отвечают привычным «ваалейкум!..»

Я верчусь около стариков. Гарцую попеременно то на дедовой палке, то на длинном, как пастушеская клюка, посохе его приятеля, с любопытством оглядываюсь на остающийся позади след в пыли. Потом с грохотом швыряю палки одну за другой.

Дед с напускнуой строгостью взглядывает на меня изпод кустистых бровей, грозит мне указательным пальцем. Я неохотно возвращаю палки, обнимаю его сухие стариковские колени. Смотрю на него снизу вверх, схватив за бороду, заставляю его открыть рот.

— А где у тебя зу-убы? — спрашиваю, вытянув губы дудочкой.

Дед показывает единственный наполовину стершийся верхний зуб, покачивает его пальцем. Я смеюсь тихонько: как это можно растерять изо рта зубы? Потом, соскучившись, подбрасываю вверх тибетейку. Она с веселым хло-

пом падает в пыль: «Пуф». Дед хмурится, отряхивает тюбетейку, надевает мне на голову.

— А ну, сынок, расскажи-ка нам вчерашнюю сказку, — заставляет он. — Хорошая сказка!

Я знаю, он ни за что не отстанет, и рассказываю одну из затверженных на память коротеньких поучительных сказок. Оба старика смеются, хвалят:

— Добро! Добро!

— А теперь пусть расскажет что-нибудь про Афенди, — хитро подмигнув левым глазом, предлагает приятель деда.

— Он знает, знает! — подхватывает дед и легонько хлопывает меня по спине: — А ну, сынок, расскажи, как Афенди покупал у лавочника масло.

Поартачившись немного, я быстро, без запинки лопочу, как попугай. Дед, довольный, обнимает меня, целует в щеку. Его приятель смеется, потряхивая бородой.

— Память у тебя — что надо, дай бог прожить тебе тысячу лет! — говорит он.

А я уже ищу новых развлечений. Хотел было побулькать ногами в небольшой яме, вымытой струей воды, бьющей из-под дувала, а там, приплясывая, плавают несколько маленьких, с орех, яблоч-падалиц. Я невольно останавливаюсь, заинтересованный этой забавой. А яблоки, будто наперегонки стараются, подплывают к водопаду и ныряют одно за другим, подхваченные струей воды.

Наконец, терпение мое иссякает. Я наклоняюсь, пытаюсь поймать яблоко. Но меня останавливает строгий окрик деда:

— Эй, свалишься, проказник!

Дед с натугой поднимается, берет меня за руку, и мы отправляемся домой. Идет он очень медленно, сильно горбясь. На каждом шагу поминает аллаха. Молит бога за единственного своего сына, моего отца, который вынужден подолгу жить где-то в кишлаке, в горах: «Боже, пусть будет здоров и благополучен Таш, тебе одному поручаю его!» А мне вспоминается рассказ матери о Хумсане, горном кишлаке, где находился отец: «Слышала я, горы Хумсана высокие-высокие и красивые. Среди гор река большая бурлит, пенится, Там приволье и добра всякого — счету нет! Орехи, вишни, мед — все это с гор привозят, понимаешь?» А чего еще надо человеку?

Через старую двухстворчатую калитку со стершими от времени резными узорами мы входим во двор. В просторном, на толстых столбах, сарае для скота лежит,

посапывая, наша единственная бурая корова, слепая на один глаз. Да горлинки воркуют на толстых перекладинах.

Дед ведет меня к себе, в свою комнатушку, притулившуюся одной стороной к сараю. Пошарив под кошкой, он находит большущий ключ, открывает сундук у стены напротив двери. Радуюсь заранее, я заглядываю в сундук из-под руки деда. Эх, вот бы наполнить подол рубахи пригоршнями сахара, парварды, карамели в бахромчатой обертке, засахаренного миндаля и прочих лакомств, какие лежат в сундуке на тарелках и в бумажных свертках!.. Но дед, словно догадавшись о моем желании, легонько отодвигает меня в сторону, сует в руку всего пару кусков сахара, пару бахромчатых карамелек и тотчас со звоном запирает сундук. И еще наказывает:

— Смотри, бабушке не показывай! Слышишь?

Я хорошо знаю, что единственная полновластная хозяйка сундука — бабушка, что она пуще глаза бережет спрятанные в нем сладости. Поэтому не решаюсь даже выйти во двор похвалиться перед братом или еще перед кем-нибудь из ребят, торопливо, с хрустом грызу сахар в полутемной комнате. Но, как-то так случилось, в комнату вдруг вошла бабушка. Высокая, сухая, как жердь, она закричала, сердито вытарашив большие глаза:

— Это что такое?! Дед твой, чтоб ему, и за что он только так любит тебя, озорника?..

Я выбегаю во двор. Показываю дедовские подарки старшему братишке Иса Мухаммаду, в одиночку игравшему под яблоней. Иса, правда не без интереса, взглянул только и ничего не сказал.

Мать, занятая шитьем тюбетейки на террасе, услышав голос бабушки, недовольно хмурится, но не прекращает работы: она была скромной покорной невесткой, никогда не выходила из повиновения свекрови и никогда не вступала в пререкания с ней.

Из школы возвращается моя старшая сестра, Каромат-биби — совсем еще девчонка, ходившая без паранджи. Ее школу — дом учительницы в нашем квартале — я хорошо знаю, как-то заходил туда, увязавшись за ней. На террасе, уместившись в ряд, сидят девчонки, вперемешку большие и маленькие, и наперебой галдят — читают вслух книжки. Учительница — важная и строгая на вид, пожилая женщина с длинным, тонким хлыстом в руке — глаз с них не спускает, если кто вздумает поже-

вать серы или курта, хлещет их легонько, напоминая об уроке.

Я выхватываю из школьной сумки сестры какую-то толстую книгу — коран, кажется, и принимаюсь как попало листать ее. Сестренка переживает, пытается вырвать книгу. А я не отдаю. Убегаю в один конец террасы, в другой. Тяжелая книга неожиданно вырывается у меня из рук, споткнувшись, я падаю прямо на нее. Мать молча отбирает у меня книгу, благоговейно целует ее, кладет в сумку, а сумку вешает высоко на колышск, вбитый в стену. Тогда я затеваю из-за чего-то ссору с младшим братишкой. Потом убегаю, схватив очки бабушки, которая латает что-то, прислонившись к столбу террасы на солнышке. Бабушка сердится, бранится. А я смеюсь довольный...

* * *

Полдень. В сарае мычит корова. В стадо ее не пустили: возвращаясь с выпаса, она — потому, наверное, что слепа на один глаз, — разбила рогом стекло в вагоне конки, и дед, очень расстроенный, вынужден был уплатить рубль штрафа.

Мать хлопотала на кухне, высокой, с открытым дымоходом. Я играл на террасе, складывая горкой подушки. Бабушка старательно — уже в который раз за день! — подметала тесный, продолговатый двор. Покончив с уборкой, она взошла на террасу, заглянула в зыбку, пристроенную между двух столбов, и вдруг закричала истошно:

— О, горе мне!.. Шаходат! Скорее сюда!..

Из кухни прибегает мать. Я тоже подхожу к зыбке. Мертвенно-бледное с желтизной лицо больного младшего братишки, его странно открытые неподвижные глаза вызывают невольный страх. Лицо матери становится песчано-серым, глаза наполняются слезами. Бабушка дрожащими пальцами проводит легонько по векам ребенка.

Немного времени спустя приходят соседи. Дедушка, не в силах сдержать себя, плачет навзрыд, тяжело, опершись на палку. Я стою, бледный, подавленный, низко опустив голову. Как-то пусто вдруг стало кругом, все казалось холодным, неприветливым...

* * *

Как-то вечером с улицы неожиданно донесся рев верблюдов, послышались громкие незнакомые голоса. Старший брат метнулся к калитке, я пропустил вслед за ним.

В тесной, кривой улочке, как в мышеловке, сгрудилось много верблюдов с тяжелыми вьюками. Разбрасывая во все стороны пену с губ, они сердито мотали головами, отчего подвешенные к шее большущие, с кумган, ботала звонко гремели. Незнакомые люди, рослые, в рваной одежде, покрикивая «чих-чих!», укладывали передних верблюдов на колени.

Я остановился, тесно прижавшись к дувалу. Вскоре на улице, постукивая палкой, показался дед.

— Таш здоров? — это первое, о чем он спросил, выйдя за калитку.

Ему ответил один из погонщиков верблюдов:

— Слава богу, Ташмат-ака здоров!

Я догадался, что эти люди прибыли из кишлака от отца. Обрадовался очень. Теперь даже огромные, вровень с крышами окружающих мазанок, верблюды уже не казались мне такими страшными. Я стал заигрывать с ними, поддразнивать: «Ап-ап!»

Погонщики верблюдов, ловко вскидывая на плечи большие тяжелые мешки с зерном, начали ссыпать его к нам в амбар. Собралось много ребятишек, подростков, кругом — шум, гвалт. Длинный тощий подмастерье нашего соседа-сапожника пырнул ножом в один из мешков, на землю посыпались, загремели орехи. Подмастерье, а за ним и другие ребята с криками, с визгом бросились подбирать их. Тут подоспел дед. Он разогнал всех, угрожая палкой, потом, ползая чуть ли не на четвереньках, собрал орехи все до одного.

Дед заметно повеселел и выглядел бодрее обычного. Но больше всего меня удивило то, что он совсем не боялся верблюдов: сгорбившись, без всякой опаски ковылял между этими беспокойными животными. Объяснение такой его смелости я получил в тот же вечер от матери. Оказалось, дед долгое время водил караваны верблюдов. Работал он на богатых купцов. С грузом разных товаров — мануфактуры, чая, изюма — бывал в разных городах, даже в таких далеких местах, как Арка, Каркара. У него было семь верблюдов. Летом он странствовал, а зимой в сильные холода давал верблюдам передышку. Построил для них просторный добротный сарай. Вовремя и всегда с большим запасом заготавливал сено, жмых и целые дни проводил со своими любимцами: убирал за ними, подметал, кормил досыта. Верблюды у него были справными, шерсть на них всегда отливала блеском. Соседи, родня удивлялись его пристрастию, советовали: «С какой стати

ты ходишь за ними зиму? Зачем тебе беспокоиться насчет кормов? Продай их, а весна подойдет, купишь других». Но дед был упрям. «Нет, нет! — говорил он. — Ни к чему эти ваши неразумные речи. Верблюд — редкостное животное и к нему нельзя относиться бездушно. Люди вон собак держат, а ведь верблюд священная тварь!» Собак, кур дед не любил и никогда не держал. Поруч, когда он водил свой караван, дед считал самой счастливой порой своей жизни, часто вздыхал, вспоминая о ней, и до старости не изменил своей привязанности к верблюдам.

Через несколько дней после отъезда кишлачных, дед привел других людей. Они ссыпали пшеницу и орехи в мешки и увезли все, навьючив на рослых ишаков и коней, таких смирных — швырни в любого ком глины, ухом не поведет. Я зашел в амбар, а там — пустым-пусто! Одни мыши шныряют по закромам, поблескивая хитрыми глазками. Зло меня взяло тут, не могу понять, зачем дед отдал все? Особенно жалко было орехов. Я побежал к матери, а она рассмеялась:

— Это все не наше, сынок, хозяйское, хозяина твоего отца...

От такого ответа у меня заняло сердце. Хмурый я вышел на улицу.

В эту пору мне было, наверное, не больше четырех лет...

* * *

Улочку нашу заняли ткачи. Одни, натянув основу, красили ее синей краской, другие — ровняли и гладили нити, протаскивая по основе какое-то громоздкое и тяжелое, как колода, приспособление, утыканное с одной стороны грубым волосом. Большая часть ткачей — люди пожилые. Чуть забаловался, слышишь окрик:

— Не вертись под ногами!

Достав из арыка ком вязкой глины, я сижу в сторонке, играю в «хлопушки». Вдруг из калитки соседнего дома выбегают Агзам, мой дружок — глаза блестят, в руках ломоть полосатой дыни-скороспелки. Я уставился на него с завистью. Спрашиваю:

— Сладкая?

— Ох и сладкая! — замотал головой Агзам. — Отец принес, дома еще есть!.. — похвалился он, но тут же спохватился и спрятал руку с дыней за спину — видно, догадался о моем желании.

Я отшвырнул глину. Во всю прыть припустил в пере-

улок, зная, что дед должен быть там. Дед-разговаривал со своим приятелем. Я прильнул к нему:

— Дедушка — дыни!..

Дед не слушает. Постукивая по земле концом палки, он продолжает разговор:

— Знаю, знаю. Он был человеком Мусульманкула, самого шайтана мог поучить...

— Очень хорошо, раз вы его помните! — тяжело мотнув крупной головой в старой тюбетейке, говорит приятель деда. — Так вот, и надо ж было, чтобы я встретился с ним лицом к лицу, будь он проклят! Он на коне, а я пеший. И в руках одна палица. А ведь он здоров был, как див, и в бою злой до бешенства...

Я невольно прислушиваюсь. Поглядываю то на деда, то на его дружка. Речь шла у них о войнах, об осадах, о каких-то ханах, беках. Кто-то там успел запереть большие ворота какой-то крепости, кто-то перекрыл воду в город. Где-то там, в садах, переспелые фрукты осыпались и гнили, потому что садоводы сбежали куда-то... Разговор этот, кажется мне, увлекательнее самой интересной сказки.

Наконец, старики смолкают и задумываются, опустив головы, — видно, вспоминают свою молодость. Я спохватываюсь, дергаю деда за руку:

— Дыни...

— Сиди смирно, проказник, — говорит дед. — Дыни еще не поспели.

Я продолжаю приставать, изо всех сил тяну деда за руку. Чтобы отвлечь меня, приятель деда начинает выделывать своей длинной палкой всякие штуки, перебрасывает ее с руки на руку. Потом сильным голосом запекает шуточную песенку. Но на меня это не действует. В конце концов дед говорит приятелю:

— Что поделаешь — дитя. А желание дитяти превыше воли падишаха.

Я не знаю, какая могла быть связь между моим желанием отведать дыни и волей какого-то там падишаха, но зато я очень хорошо понимаю — раз дед сказал так, значит, желание мое будет исполнено.

...Если пройти от нашего дома сотню шагов узенькой улочкой, выйдешь на мощеную булыжником большую улицу квартала Ак-мечеть. Здесь на перекрестке три лавки: одна мясная и две мелочных. Лавчонка Мусы всегда казалась мне никчемной — он торговал только морковкой, луком, мукой и керосином. Зато у старого бородатого ла-

вочника Сабира можно было найти все, начиная от развешанных низками «хлебцев с дырками» — засиженных мухами баранок, «хлебцев-лошадаков» — фигурных пряников, червивой джиды и сушеного урюка до каменного угля, клевера и александрийского листа.

Мы идем прямо в лавку Сабира. Лавочник встречает меня приветливо, говорит звучным медовым голосом:

— Ай молодец-удалец, дедушке твоему дожить до твоей свадьбы!

Дед берет из кучи дынь одну, самую маленькую. Обнюхивает ее, передает мне. Потом спрашивает цену. Лавочник что-то говорит в ответ. Дед, хмуря кустистые брови, бросает на него короткий выразительный взгляд, молча достает из кармана длинной бязевой рубахи несколько медяков. Близко поднося к глазам, внимательно осматривает каждую монету в отдельности и также молча бросает хозяину. Сабир-лавочник качает головой.

— Нельзя, отец, прибавьте малость.

Дед обрывает его:

— Хватит! И так хорошую цену дал.— И поворачивает к дому.

— Дада-кузы, отец!— всполошившись, кричит лавочник вслед.— Без прибавки никак нельзя!

Но дед даже не считает нужным оглянуться. А когда сворачиваем в улочку, говорит сам себе:

— Продавать — продавай, но и совесть знай! Можно ли спрашивать все, что на язык навернется?

А потом и на меня начинает досадовать:

— Дурень, не мог потерпеть! За такие деньги я бы тебе с базара большую принес...

Прижимая под мышкой дыню, я ветром врываюсь во двор. С ходу кричу матери, занятой шитьем на террасе, требую нож. Старший братишка и сестренка, сметывавшая какие-то лоскутки, удивляются, радуются. Тут и дед подходит, осторожно переступив порог калитки.

— Дорого купил,— говорит он матери, кивнув на дыню.— Мог бы сходить на базар, да сын твой пристал, не отвяжешься.— И смущенно улыбается.— Желание дитяти превыше воли падишаха.. Ничего, был бы он здоров и невредим, после меня бы долго жил. Очень я люблю его, сорванца!..

После этого дед через каждые два-три дня входил в калитку вспотевший и запыхавшийся, вынимал из-за пазухи полосатую дыню-скороспелку и принимался жаловаться бабушке и матери на шум и толкотню базара...

Мать надела на меня чистую рубаху из красного в белую полоску тика, длинную и просторную, сама прикрылась старенькой паранджой и сунула под мышку небольшой узелок. Мы отправились к другому моему деду (с материнской стороны). Это — совсем рядом, в квартале Нижняя Ак-мечеть. Мать иногда навевывалась туда прямо по крышам соседних домов, просто накинув на голову какой-нибудь легкий халатишко.

По пути я на какое-то мгновение задержался у лавки блебородого Сабира, позавидовал, как старик, отвешивая пряники, ловко управляет с маленькими ручными весами, старыми, с деревянным коромыслом, с помятыми чашами. Потом засмотрелся на толстого, почти круглого мясника Нияза, дремавшего на низенькой табуретке, подивился, как он не боится ос, которые роем гудели вокруг него.

К знакомой калитке я все же подбежал первым и влетел прямо в сапожную мастерскую — небольшую приземистую мазанку на внешней, мужской, половине двора. Здесь гнули спины над шитьем ичигов восемь человек: сам дед, двое его сыновей (мои дяди) и пять учеников и подмастерьев.

Дед — полный, внушительного вида старик с круглой головой, с крупным лицом и с опрятной белой бородой — сидел перед маленьким подслеповатым окошком у толстой, гладкой колоды и кроил кожу. Увидев меня, он проговорил, нарочно вытягивая губы трубочкой:

— Бо-бо-бо! Мой милый, мой славный малышок!

Оба дяди обняли меня по очереди и опять занялись своим делом. Старший Эгамберды — высокий, худощавый (пожалуй даже слишком), у него большие задумчивые глаза, широкие сросшиеся брови и красивые, к лицу, усы и вообще вид он имел щегольской, одевался всегда чисто: на голове новая тубетейка, стан перепоясан двумя шелковыми поясными платками, — взглянул на меня из-под густых бровей и чуть приметно заговорщицки прищурил левый глаз, видно намекал на что-то интересное, скорее всего на новое приобретение, потому что он увлекался перепелками и знал в них толк. Младший дядя, Рахимберды, — небольшого роста, хилый и довольно-таки неказистый, с реденькими, подстать обличью, усами — низко склонился над голенищем ичига, которое тачал. Он всегда вот так с

утра до вечера, не вставая и не проронив лишнего слова, гнул спину на работе.

Ученики и подмастерья, заскучавшие в тесной и душной в жару мастерской, принялись за обычные шутки: один так ловко и с таким проворством сорвал у меня с головы тубетейку с вышивкой «цветок на лугу», что я не успел заметить, куда он ее спрятал. Другой, чтобы испугать меня, фыркнул сзади кошкой.

Дед окинул всех строгим взглядом, прикрикнул:

— А работать мама будет за вас, окаянные?!

Дед был строг к другим, но и себя не щадил. Человек он был небогатый, чтобы обеспечить семью, работал, не покладая рук, даже по праздникам. По пятницам ученики и подмастерья были свободны. Оба дяди, старший и младший, тоже с утра уходили в чайхану. А дед, бедняга, не зная отдыха, один сидел, согнувшись над своей колодой. Только в полдень, к часу пушечного выстрела, как тогда говорили, он кончал работу, совершал омовение и отправлялся в мечеть. А после праздничной молитвы в Ак-мечети шел в мечеть на улицу Могол, неподалеку от нашего квартала, к ишану. Народу там собиралось множество. Чтецы-хафизы со слезным завыванием читали любовные суфийские газели. С криком «Ху-ху!» дед тотчас присоединялся к участникам радения и самозабвенно шел по кругу, доводя себя до экстаза. Человеком он был набожным, каждую свободную минуту отдавал молитвам, служению богу. Он был давним ревностным муэдзином мечети своей общины, каждый день поднимался на минарет, чтобы призывать прихожан на молитву. Его громкий раскатистый голос далеко разносился с высокого минарета, и я даже гордился им и всякий раз напоминал своим товарищам: «Это мой дедушка!»

Мощный голос деда отдался в ушах. Шутники сразу притихли. Я выхватил свою тубетейку, зажатую между колен у полуголого тощего подмастерья, и принялся шарить по мастерской, заваленной всяким хламом: стучал колодками, перебрасывая их то на одну, то на другую полку; некоторые пробовал примерить, приложив к ноге. Когда дед ушел на полуденную молитву, я тотчас уселся на его место, взял сморщенный кусок кожи, с таким же, как он, серьезным видом намочил его в тазу с водой, положил на колоду и, выравнивая, начал колотить по нему железным пестом.

Немного времени спустя с минарета донесся звучный голос деда. Я не выдержал, выкрикнул:

— Дедушка!

— Это он с минарета никак не может слезть, твой дедушка. Беги, помоги ему сойти,— в шутку посоветовал мне рябой подмастерье.

Я обиделся, еще громче начал стучать пестом. Это видно, надоело всем, и у меня отобрали пест. Тогда я отправился на внутреннюю, женскую, половину двора.

На маленьком, тесном дворике стоял новый дом в две довольно приличных комнаты с террасой. Дед с большим трудом недавно построил его на месте старой, оставшейся от дедов-прадедов ветхой хибарки. В углу двора, раскинув корявые ветки, росла большая старая яблоня с толстым стволом. Помню, бабушка каждую весну подходила к этой яблоне с топором и грозилась: «Срублю! Вот срублю тебя, сгнать тебе!» И всякий раз у нее недоставало решимости.

Бабушка Хурмат-биби — осанистая с виду, дородная, белолицая женщина с крупными глазами, чуткая и ласковая на слово — сидела с матерью на террасе за чаем. Она привлекла меня к себе, полными мягкими руками погладила по голове и, по своему обыкновению, поцеловала в лоб.

Заметив двух птенцов горлинок в гнезде на карнизе террасы, я тотчас вскочил. Бросился искать палку, чтобы сковырнуть их, но бабушка остановила меня:

— Ах ты, озорник! Мать птенцов проклянет тебя. Горлинка — святая птица! — Потом она рассказала, как между потолочными перекладинами показалась змея, чтобы пожрать птенцов, как она из жалости к малышам несколько дней глаз не спускала с потолка, ночи не спала. Она в самом деле боялась даже чуточку обидеть какую-нибудь живую тварь. Бабочек, жуков, муравьев — всех брала под свою защиту.

Я все-таки не послушался. Мне во что бы то ни стало хотелось добыть птенцов. Но тут меня начала бранить мать. Взглянув на ее небольшое, худощавое, но милое лицо, я понял, что она готова поколотить меня, если не перестану озорничать, и поневоле должен был оставить свою затею.

* * *

Мы пьем утренний чай. Мать, сестренка, брат Иса, дедушка, бабушка и я — все мы сидим на террасе, собравшись в кружок у разостланной на кошке скатерти. Дедушка на почетном месте, я под боком у него. Напро-

тив, у самовара, мать еле успевает разливать чай. Чай с одним хлебом надоед уже. Ни сахара, ни сушеного урюка! Я очень любил лепешки со шкварками и с луком, но такие лепешки бабушка пекла редко-редко.

Внезапно я повисаю на плече деда, хватаю его за уши, глазу морщинистые щеки.

— Перестань, мой мальчик, сиди смирно. Чай же пролил, негодник! — журит меня огорченный дед.

Дед мой — дряхлый старик. У него кустистые брови, реденькая бородка — совсем белая. На морщинистых руках выпирают вены, крупные пальцы в мозолях. От худобы он кажется щуплым, у него резко выступают плечи.

Мать бранит меня:

— Сказано тебе: уймись, непоседа!

Но дед тотчас принимает мою сторону:

— Ничего, это он от избытка сил такой непоседливый.

У бабушки только и разговору, что о жите-бытье, о хозяйстве. Ее речь пересыпана пословицами, поговорками, неожиданными яркими оборотами. Это высокая сильная старуха, крепкая, живая и расторопная. Она не горбится, как дед, не признает палки и вечно хлопочет, не зная покоя: то хлеб печет, то разжигает очаг, то старательно подметает двор, выбивает кошмы...

Каждый день, когда мы сидим за завтраком, в калитку тихо, с опаской входит большой серый пес. Не приближаясь к террасе, он останавливается на некотором расстоянии, причем всегда на одном и том же месте, и, опустившись на задние ноги, смотрит на меня умильными глазами. Рослый, сильный, пес этот принадлежит уличному сторожу, он привык бродить по дворам.

Вот и на этот раз не успели мы сесть за завтрак, а он уже тут как тут. Я встаю, протягиваю кусок лепешки. Зову: «На, Куктай, на!». А тем временем незаметно беру с полки коробок со спичками. Однако пес догадывается о подвохе, срывается с места и бежит к калитке — он очень боится спичек. Я швыряю вслед кусок лепешки, пес возвращается, хватая хлеб и со всех ног удирает. Мы все громко хохочем. Только бабушка ворчит:

— Чтоб тебя, хлеб швырнул, а! Грех ведь... Собакам аллах кости-огрызки определил.

Сестренка снимает с колышка сумку, вскидывает ее через плечо и отправляется в школу. Старший братишка, аккуратно сложив поясной платок, только было начал подпоясываться, как в калитку вбежал Кадыр, сын дяди со стороны отца.

— Быстрее, Исабай, опоздаем!

Они собираются куда-то. Я хочу пристать к ним, начинаю капризничать. Мать сердится:

— Чтоб тебе не ослепнуть! Сам с льняное зерно, а липнешь к старшим. Они далеко идут.

Дед, покряхтывая, с трудом поднимается со своего места.

— А ну, пошли, малыш, пойдем на улицу, — говорит он, протягивая руку к приставленной к стене палке.

Я сразу успокаиваюсь.

Постукивая палкой и сильно горбясь, дед еле-еле переставляет ноги. На нем старенький чапан, надетый поверх бязевой рубахи, пожелтевшая от времени белая тибетейка, грубые кауши на босу ногу.

Я рысцой забегая вперед, спрашиваю:

— Куда мы идем, к дедушке Мир-Ахмаду? «Прошла-пролетела жизнь...»?

Дед усмехается:

— А, плут, догадываешься!

— Ну, быстрее же, дедушка! Тащитесь еле-еле, — то-роплю я деда.

Дед смеется. Говорит, тронув белую бороду:

— Что поделаешь, малыш, стар стал я. Теперь я, к примеру, тоже сухое дерево...

Мы сворачиваем в узенький кривой переулок. Через знакомую покосившуюся калитку входим на просторный запущенный двор.

Старый Мир-Ахмад, одетый, как и мой дед, в бязевую рубаху и поношенный чапан, сидел на террасе несоразмерно высокой глинобитной мазанки рядом с низенькой болтающейся на петлях дверкой. Прислонившись к стене, он дремал, распушив по груди бороду и наклонив вперед большую лобастую голову.

Дед приставляет палку к стене, улыбается:

— Что, пригрелись на солнышке?

— А, заходи, заходи, а то я сижу тут, скучаю. В доме — никого. Мир-Махмуд за городом. С тех пор как я лишился покойной старухи, положение мое вот такое — только и знаю, — сижу, торчу, как одинокий кол в поле, — говорит Мир-Ахмад. Потом подвигается, освобождая место деду на старенькой подстилке.

Старик почти всю свою жизнь был солдатом-воином. Его крупное массивное тело, огромный рост, все еще сохранявший остроту, ястребинный взгляд, говорили о том, что в молодости он был отважным, богатырского склада

человеком. Служа солдатом, он довольно постранствовал по белому свету — побывал и в Ферганской долине, и в степях, вокруг Чимкента, Туркестана, Сайрама.

На полуразвалившейся террасе ветхой древней ма-занки двое стариков — давних друзей — начинают обыч-ный нескончаемо-долгий разговор. А я тотчас подхожу к огромному, с ишака, черно-пегому цепному кобелю, кото-рый дремлет на солнце перед террасой. Кобель, лениво приоткрыв глаза, глухо рычит. Я истуганно отскакиваю шага на два. Потом снова, уже осторожно, приближаюсь к нему. Опускаюсь на корточки, поддразниваю, протяги-ваю руку: «На, на, на!» Пес молчит, оскалив зубы, кусает кончик своего хвоста, пытается поймать надоедливую муху; подняв лапу, чешет за ухом. Я начинаю приставать смелее, пес внезапно рывкает гулким утробным басом. Ис-пуганный, я отскакиваю снова.

— Эй, не трогай, укусит! — кричит дед и подзывает меня к себе.

Старики продолжают рассуждать о чем-то. Я с ми-нуту сижу под боком у деда, потом, соскучившись, опять убегаю с террасы.

По двору бродила старая, подслеповатая курица, един-ственная у хозяина. Не знаю — неслась она, нет ли, но это была тощая, облезлая и смиренная-смирная курица. Я начинаю гоняться за нею, швыряю в нее комьями земли.

— Перестань, не трогай! Нехорошо так! — опять кричит на меня дед.

Я проскальзываю мимо стариков в дом. Полутемная комната кажется совсем пустой. В нише — какой-то ста-рый сундук, в углу — тяжелый старинный кувшин с от-битым краем. На полу, поверх обрывка пыльной кошмы, грязное одеяло да сшитая из лоскутов подушка. На дере-вянном колышке, вбитом в стену, висит замусоленный чапан. Напротив двери, почти у самого потолка — жердь, на ней — поношенный ватный халат. В нише для посуды несколько глиняных пиал, две-три тяжелых глиняных чаш-ки, с полдесятка грубо выдолбленных самодельных дере-вянных ложек. Я обшариваю каждый угол комнаты, каж-дую полку, нишу, вдруг вижу большую старинную саблю в обшарпанных ножнах, подвешенную под потолком, и у меня вздрагивает сердце. Я подбегаю к низенькой резной дверке, пытаюсь подтянуться. Выхожу из себя, кричу не-терпеливо:

— Дедушка, достаньте саблю!

Старый Мир-Ахмад сердито оглядывается, но тотчас смягчается. Покашливая, говорит ласково, с улыбкой:

— Не надо шуметь, сынок. Сабля подвешена к потолку, так просто ее не достать.— И задумывается.— Да, было время— здорово рубились мы. Боевых коней на дыбы поднимали и разили саблями, а теперь и сабля-то, как я, старая стала... Эх молодость, молодость! Прошла-пролетела, падучей звездой промелькнула и скрылась.

— Дедушка, дай мне хоть разок поддержать,— уже со слезами прошу я.

Тут вмешивается дед. Обманом, посулами он подзывает меня и усаживает рядом.

— Садись, сынок, садись. Что такое сабля? Время сабельных схваток прошло. Теперь учиться надо, мой мальчик. Чтоб грамотеем стать, когда подрастешь!— говорит он, похлопывая меня по спине, и тут же обращается к приятелю:— А ну, начинай, друг. Расскажи, как в Фергане скинули с трона Мадали-хана. Да как следует рассказывай, пусть Мусабай послушает.

— Что ж, если так, слушай, малыш,— говорит старик, и откашлявшись, начинает свой рассказ.

Живым родником льются воспоминания старика. Диковинные события, увлекательные, как сон, необычные приключения следуют одно за другим. Сражения в Фергане, газават в Бухаре, разграбление Коканда, Хорезма...

Я сижу притихший, весь превратившись в слух. А старик все говорит и говорит, кажется, его рассказам не будет конца. Я до сих пор, хоть и смутно, помню многие из них.

— Да, прошла-пролетела жизнь. Увы, недолговечен этот бранный мир!— говорит старик. Кашлянув, он задумывается надолго, потом вздыхает:— Говорят, кто сидит, подобен циновке, а кто движется, подобен реке. Бурной рекой был я когда-то и вот, сами видите, уподобился циновке.

— Что поделаешь, друг,— говорит дед, пальцами расчесывая бороду.— Зато мы избавились от тиранства ханов, беков, от грабежа и разорения.

Старики переходят к шуткам-прибауткам, болтают досыта. Я и шутки их люблю слушать.

Когда время приближается к полдню, мы с дедом, не торопясь, отправляемся домой.

На террасе, у разостланной на полу скатерти, сидит бабушка и наш зять с Лабзака, муж моей младшей тетки по отцу. (Он был женат на старшей, но когда та умерла, за него выдали младшую).

На скатерти, ближе к гостю, поднос, на подносе — разломанная на куски лепешка и сладости — все как положено быть.

Бурно кипит самовар. У самовара мать разливает чай. Я приткнулся рядом, сел на пятки, поглядываю то на поднос, то на гостя.

Зять — длинный, тощий, болезненного вида человек лет за пятьдесят, со сморщенным старушечьим лицом, с пучками нависших на глаза бровей. На нем легкий, без подкладки, застиранный халат, на ногах порыжевшие от времени рваные ичиги, на голове намотанная как попало замусоленная чалма из грубой ткани. Да и весь он выглядел каким-то неопрятным и замороженным, потому, наверное, что имел большую семью, жил бедно и работал на крупорушке, а рушить просо — дело трудное и грязное.

Я молча смотрю на гостя. Вижу, как быстро, челпоком двигается кадык на его тонкой жилистой шее, слышу громкие, похожие на икоту, звуки при каждом глотке чая, хруст сахара на зубах. Невольно кошу глаза на поднос.

С улицы входит дед. Он здоровается с гостем, спрашивает его о делах. Зять с первых же слов начинает жаловаться на нужду, на то, как тяжело одному управляться с крупорушкой. Я слушаю вполуха. Теперь все внимание мое привлекают сладости.

С приходом деда я смелею. Незаметно передвигаюсь на коленках ближе к скатерти, трогаю поднос. Даже пробую пощелкать пальцем по краю, хотя протянуть руку к сладостям не решаюсь, боюсь бабушки. Но бабушка уже заметила мои уловки. Она толкает меня под бок:

— Чего ты егозишь? Сиди смирно!

— Да я так... парварду пересчитываю в уме, — бормочу я не очень внятно.

Дед громко смеется.

— Ха, вывернулся! — И показывает на парварду: — Возьми, возьми, проказник.

Я протягиваю руку к подносу, но бабушка опережает меня, сует мне кусок сахару, какой поменьше, и обломок завитка парварды.

— А теперь уходи отсюда, отправляйся на улицу!— говорит она сердито.— Дивлюсь, как у тебя жар не поднялся, ешь одни сладости!

— Да, сколько дней уже ничего не даете, ключ от сундука прячете. Скупая вы, как камень!— говорю я, на всякий случай отступая подальше.

Мать хмурит брови, молча кивает мне в сторону калитки. Я поворачиваюсь и убегаю на улицу.

Теплый майский вечер... Босой, в новой ситцевой рубашке и в старенькой тюбетейке, я бегаю по улице. Здесь кишит тьма ребятшек разных возрастов — больших и малышей. Все мы заняты играми. Игр всяких тоже много: те, кто постарше, играют в ашички, в чижики, мы — малыши — гарцуем верхом на таловых прутьях, скачем без усталости, поднимая на улице клубы пыли. Я стараюсь не отстать от товарищей в украшении своего коня-прутика, обвешиваю его всякими висюльками, тряпицами. А попытается тронуть кто из ребят, без всякого страха бросаюсь в драку.

Вдруг, совсем неожиданно, на могучем гнедом иноходе подъезжает отец. Я крепко прижимаюсь к нему, как только он сходит с лошади.

— Здравствуй, сын!— говорит отец, обнимая меня одной рукой.

Ведя в поводу коня, он идет во двор, снимает хурджу-мы. Сдержанно здоровается с бабушкой, дедушкой, обрадованными встречей, усаживается на террасе. Мать приветствует его издали и принимается хлопотать у самовара. Тотчас откуда-то появляются сестренка Кумры с братом Иса Мухаммадом.

Отец сидит хмурый. Не проронив слова, молча закладывает за губу щепоть насвая. Я тоже притих, словно вязкого воску закусил, сижу, приткнувшись к деду.

— Что случилось? Рассказывай, как твои дела?— спрашивает дед, первым нарушая тягостное молчание.

Отец мой, Таш Мухаммад, высокого роста, светлокожий человек с черной бородой и усами. Деду он отвечает не сразу. Долго хмурится молча, потом выплевывает насвай и только тогда после этого бросает коротко и резко:

— С делами худо. Три дня назад лавку ограбили воры. Я наскоро распродал остатки товара и уехал из Хумсана...

Все притихли. После долгого молчания дед вдруг взрывается, запинаясь от гнева, говорит:

— Значит, и с Хумсаном вышло худо? Но ведь люди-то будто честные в тех местах?!

— Народ в Хумсане хороший, да воры есть,— коротко возражает отец.

Дед, очень расстроенный, опускает голову, бабушка плачет навзрыд:

— Сгинуть бы моей несчастной доле!

Мать плачет тихонько, беззвучно, но слезы, скользившие по ее щекам, казалось, сочатся из наших сердец, и мы — старший братишка, сестренка и я — сидим притихшие, подавленные, поглядывая то на отца, то на мать.

Дед, не проронив больше ни слова, встает. Придавленный грузом заботы, свалившейся на его плечи, он с трудом держится на ногах и, сгорбившись больше обычного, уходит в мечеть на вечернюю молитву.

Теперь, словно река через размытую плотину, бурно всплескиваются вопли бабушки. Но отец тотчас обрывает ее:

— Довольно, довольно. Хватит! Все от бога.— Потом немного смягчается:— Не огорчайтесь, проживем как-нибудь,— говорит он, отсыпая на ладонь щепоть наса.

Мать, не переставая лить слезы, приносит самовар. Разламывает лепешки на скатерти. Все мы молча и нехотя пьем чай.

* * *

Наутро мы усаживаемся за чай раньше обычного. Отец занимает почетное место — под языком нас, молчит, повесив голову, ни к чему не притрагиваясь. Я смотрю на него внимательно, не отводя глаз: борода реденькая, на лице уже появились первые морщины, глаза большие, чуть прищуренные в задумчивости. Он всегда любил вот так сидеть подолгу, заложив нас и отдавшись своим мыслям.

Дед, хоть и сам расстроен, старается подбодрить, наставить сына. Отец сидит, уставившись в одну точку, не отвечает ни да, ни нет.

— Довольно, не станем поминать прошлое. Забудь о нем,— покашливая, говорит дед.— Старайся. Вот Таджика вчерашним днем вернулся из Янги-базара, иди к нему, посоветуйся. Может, поедешь в Янги-базар. Казахи — народ смиренный, уважительный, отзывчивый.

— Я сам только и думаю, как прожить. Конечно, мое дело — скитаться по степи,— хмуро отвечает отец. Он выплевывает нас, выпивает пиалу крепкого чая и молча уходит из дома.

Дед долго сидит понурый, потом тяжело вздыхает и

тоже плетется потихоньку на улицу, постукивая палкой. Сестренка Каромат, невеселая, снимает с колышка сумку, надевает ее через плечо, вместе с книгами сует в нее половинку лепешки и уходит в школу. «Значит, сегодня в обед, во время перемены, она не прибежит домой», — соображаю я про себя. Сестренка — умная девочка. Нежным, приятным голосом она красиво и выразительно читает стихи Навои, Машраба, Хафиза. Я люблю слушать ее, молча прильнув к ней. Старший брат Иса тоже ходит в школу в квартале Ак-мечеть. Очень смирный и тихий, даже вялый, он тоже молча и незаметно отправляется в свою школу.

Бедная мать сегодня особенно расстроена. Она очень трудолюбивая. Чуть выпадет свободная минута, она тут же усаживается за шитье или вышивку тюбетеек, тесьмы.

И на этот раз мать быстро убрала посуду, скатерть и тотчас взялась за шитье. Я подсел к ней. Спрашиваю:

— Скажите, мама, а почему отец не разыщет воров?

— Воры, они хитрые, сынок. Пришли ночью, вмиг подмели все — и нет их, — говорит мать печально.

Мне вспомнилось, что отец обещал летом взять меня с собой в горы. Я жалею, что он покинул Хумсан. Думаю про себя: «Будь я на месте отца, я тут же изловил бы вора, отдул бы его как следует и сказал: а ну, подавай мои товары!» Я тороплюсь поделиться своими мыслями с матерью, вскакиваю от возбуждения.

Мать только мягко улыбается.

— Хорошее занятие — сидеть в лавке, мама! Тут тебе и пшеница, и ячмень, и мука, и морковь, и лук, и чай, и сахар, и орехи, и кишмиш. Вот в Ак-мечети лавки — все, что хочешь, можно найти! Когда прохожу мимо, у меня слюнки текут — столько там разных сладостей, сахару. А джида какая!.. У отца тоже, наверное, такая лавка была, а, мама? Так жалко. Мне хотелось бы побывать в Хумсане!..

Мать кладет в нишу сумку для шитья, вытряхивает из самовара золу и спешит на кухню. Глядя ей вслед, я отмечаю про себя: «Мама совсем извелась от горя».

Проходит несколько дней, отец начинает готовиться к отъезду в Янги-базар. В долг кое-как набирает тикку, ситцу, трико и однажды на рассвете, еще затемно, уезжает.

Мать несколько успокоилась. К полудню она собралась навестить своих родных и взяла меня с собой.

Когда мы проходили мимо лавок, белобородый Сабир

чуть слышно пробормотал: «Лягушонок!» Я задрожал от негодования. Но мать заторопила меня:

— Идем, идем быстрее!

— Да, он лягушкой обзывает! Дразнит...

— А пусть его, он просто забавляется от скуки. У каждого есть какое-нибудь прозвище. Не обращай внимания, это всего лишь шутка, — говорит мать.

«Лягушка» — было прозвище деда.

На углу я ненадолго остановился. Здесь зиму и лето обитал на подстилке из сена юродивый — одетый в рубище старик с длинной, свалывшейся бородой. Старик каждый день готовил себе постную похлебку на свече и тем вызывал любопытство ребягишек. Меня привлекало и другое: юродивый часто напевал разные песни, а голос у него был чистый, приятный и выразительный. На этот раз старик проповедовал что-то нараспев. Я постоял немного, послушал. Мать тем временем ушла далеко вперед.

Против мечети я опять задержался. У мечети высокий минарет, и я, проходя мимо, всякий раз останавливался, пораженный его величием, и пробегал взглядом от основания до его верхушки.

У дедушкиной калитки мать оборачивается, видит, что я догоняю ее, и проходит на внутреннюю, женскую, половину двора. А я заглядываю в сапожную мастерскую;

— Э, заходи, заходи! Что так редко показываешься? — не переставая орудовать шилом и дратвой, с усмешкой говорит мне подмастерье по имени Эргаш.

Не обращая внимания на его намек, я серьезно, повзрослому приветствую всех:

— Салам! — и прохожу прямо к деду, на почетное место напротив двери.

Дед крепко обнимает меня, раза два похлопывает по спине и принимается за работу. Я пристаю к подмастерьям, к дядьям, потом убегаю к бабушке.

Бабушка с матерью беседуют, расположившись на террасе.

— Заходи, мой мальчик, заходи, милый! — говорит бабушка, обнимая меня и чмокая в обе щеки.

Я тутчас начинаю гоняться за горlinkками, свободно разгуливающими по террасе.

— Бой-бой-бой, ну и озорник же ты! — с укором говорит мать. И опять поворачивается к бабушке.

Ко мне подходит тетка, жена дяди Эгамберды.

— Идем, племянник, я научу тебя шить на машине. Это такая штука, застрекочет — и, не успеешь оглянуть-

ся, уже слышно. Идем, сам увидишь. Три дня назад дядя твой из города привез ее.

Тетка ведет меня в дом. Я обгоняю ее, бегу впереди. Машина новая, блестит вся. Я смотрю на нее, как на чудо. Потом отодвигаю тетку, овладеваю ручкой, верчу и так и этак, открываю блестящие металлические заслонки, заглядываю всюду. Тетка начинает сердиться: «Нельзя так, это вещь хрупкая, нежная!» Она садится за машину и принимается выстрачивать какие-то вилюшки на голенище ичига. Но мне и эта новинка скоро наскучила, я бегу на первый двор, в мастерскую.

Дед уже ушел на полуденную молитву. Я радуюсь этому. Тотчас бросаюсь к его колоде, отбиваю пестом попавшийся под руку кусок кожи и вырезаю из него жужжалки. Только никак не могу вырезать по душе.

Старший дядя, Эгамберды, замечает мою проделку, сердится, бранит меня:

— Э-э-э, да ты с ума сошел! Вой-бой, всю кожу изрезал, дурень! Уходи сейчас же, дед придет — поколотит тебя. — Он вырывает у меня из рук сапожный нож, подбирает куски кожи.

А я — хоть бы что — начинаю пересмеиваться с подмастерьями, с учениками.

Вернувшись после молитвы, дед садится за работу и сразу же замечает мои проказы.

— Ийе, что это такое? Разве можно зря портить, дурень! Мало ли тут кожи изведено! Убирайся на улицу! — кричит он, краснея от гнева.

Я сижу, насупившись, обиженный.

— Иди принеси воды, будем разводить клей, — посмеиваясь, уже мягко говорит дед.

Я хватаю кленовую чашку, мчусь на внутреннюю половину двора и через минуту бегу обратно с полной чашкой воды.

— Молодец! Ну и проворен же ты, сорванец! — хвалит меня дед, мизинцем прочищая заросшее волосами ухо. — Иди-ка, поиграйся! — прибавляет он, видимо не желая, чтобы я мешал подмастерьям.

Но мне вовсе не хочется уходить на улицу, и я копошусь в мастерской, забавляясь то тем, то этим. Оба дяди, не поднимая головы, шьют ичиги.

Ученики и подмастерья потихоньку напевают что-нибудь или же рассказывают друг другу разные занимательные истории, жалуются на жизнь, на всякие трудности. Руки у них проворные, ловкие — уколол шилом и уже скрипит

дратвой, разводя концы на весь размах рук. Вот худой, чахоточного вида подмастерье с десятком седых волосков на бороде тихонько затягивает песню:

Милая Латифа,
Славная Латифа!
Ты по веточке пройдись,
По листочку порезвись,
Цветик мой, Латифа!..

Голос у него приятный, напев нежный и немного печальный.

— Повторить!— выкрикивает кто-то.

— Здорово! Хвала вам, мастер! Продолжайте!— требует пухлощекий молодой подмастерье.

А дед уже злится.

— Эй, довольно!— строго обрывает он.— Занимайтесь своим делом. И шутки и песни хороши в меру, а лишнее уже ни к чему, так у нас принято!

— Братец!— говорит пожилой подмастерье.— Мы же работаем и неплохо работаем, но ведь надоедает сидеть так. А песня — это утеха души, она не дает замечать времени, усталости. Забава же, забава...— добавляет он обиженным голосом.

Дед бросает на него суровый взгляд, кричит, краснея от гнева:

— Аллаха поминай чаще, к аллаху прибегай!— Потом смягчается, говорит:— Печаль — раскаленный уголь, от нее нет исцеления... Иди на поклон к ишану, ты уже стар, где уж тебе песни петь.

В мастерской становится так тихо, словно ее залило водой. Ученики и подмастерья, оба дяди молча шьют, только мухи жужжат роем.

* * *

Я сижу в мастерской, притих, разморенный жарой. Во двор входит какая-то женщина, закутанная в старенькую паранджу, сгорбленная, изможденная. Поприветствовав хозяев, она опускается на корточки у окошка, говорит, обращаясь к деду:

— О, добрый наставник, благодетель мой! Я к вашей милости.

Дед, не поднимая головы, отвечает на ее приветствия, спрашивает:

— Ну, старая, как дела?

Старуха долго сетует на жизнь, жалуется, что сын умыкается без работы.

— Вот пришла к вашей милости, мастер, возьмите на работу сына. Он разумный, скромный и послушный мальчик...

Дед отвечает не сразу, колотит пестом по голенищу ичига, насаженному на правило. Потом говорит хмуро:

— Озорник. Знаю его, одно время работал у меня. Гордец, грубиян и насмешник. Поняла?

Старуха умолкает, растерянная, но через минуту спохватывается, продолжает угодливо:

— Ваша правда, мастер. Все верно, почтенный, сама знаю. Что поделаю, дурной, дерзкий паренек, до смерти упрямый и неуважительный. А вы наставьте его на путь. Умом он не обижен. Есть у меня надежда, что человеком будет. Помогите же, почтенный. Добра вашего мы никогда не забудем. Мы голодаем...— Старуха всхлипывает:— Ох, много у нас горя, много печали!— и униженно просит:— Выйдем на минутку, хочу поведать вам кое-что.

Дед недовольно ворчит в ответ:

— У подмастерьев уши на запоре, старая. Говори, о чем речь?

— Жизни нет мне от притеснений злой судьбы. Некому выслушать мои вопли-жалобы...

— Довольно, довольно!— перерывает ее дед.— Говори, о чем речь? Самую суть расскажи!

Старуха минуту молчит, потом со слезами говорит, понижая голос до шепота:

— Время от времени я ходила полечить от сглаза, пошептать над детьми, над любимцами байбачи, сгнуть ему. Жена его, хоть и гордая, а встречала меня всегда ласково. Пожалуйте, мол, пожалуйста! Как-то стала она просить меня: отдайте, говорит, мне вашу внучку малыша моего нянчить. Я, говорит, приодену ее, и кормиться здесь будет. Внучка моя — девчушка малая, по тринадцатому году, славная такая, что твоя конфетка в бахромчатой обертке. Я обрадовалась. «Хоть сыта будет»,— думаю и говорю хозяйке: «Ладно, доченька!» А вернулась домой, расхвалила: хозяин, говорю, большой богач, у него много земли, воды. Внучка тоже рада. Я тут же беру ее и веду на байский двор. В доме детей куча, шум-гвалт. А хозяйка оглядела девчонку и чванливо так говорит: «Хорошо сделали, говорит, бабушка, внучка ваша заживет теперь в довольстве». Я, глупая, с темной своей головой иду домой,

радуюсь, благословляю хозяйку... — Старуха вздыхает со всхлипом.— Прошло шесть-семь месяцев. Внучка, бедняжка, бывало, забежит на минутку домой, станет жаловаться: «Бабушка, милая, работы много, извелась я». А я, глупая, кое-как обманом-уговорами провожаю ее, утешаю: ничего, мол, светик мой, на работе ты научишься, станешь ловкой, расторопной, ума-разума наберешься, а пока, говорю, будешь сыта — и то хорошо. А оказывается, байбача, сгинуть ему, заглядывался на девчонку. Завлекал ее, мол, хорошенькая моя, беленькая моя,— сдохнуть бы ему еще маленьким!

Ученики и подмастерья начинают перешептываться, подталкивать друг друга. Они, конечно, втихомолку прислушивались к рассказу старухи.

— Однажды, когда хозяйка, върядившись сама и принарядив детишек, отправилась в гости к матери, байбача сумел-таки добиться своего, а сказать прямо, обольстил девчонку. Внучка моя, нахохлившись, сидит теперь дома... Вот какое мое положение, мастер. Печалям нашим и счету нет.— Старуха рыдает:— Боже, пошли смерть всем байбачам, пусть найдут они свою гибель!..

Ученики, подмастерья, оба дяди дрожат от гнева. Дед побелел весь, кричит:

— А кто он, байбача этот? Как звать его, подлеца?

— Я храню это в тайне, мастер,— тихо говорит старуха.— Узнает сам бай, он не оставит нас в покое.

— Сынки баев от богатства бесятся, собаки!— глухо говорит старый подмастерье.

— У них вся жизнь — сплошная мерзость, у этих подлецов!— говорит второй.

Я не понимаю, что значит обольстить, но я вижу слезы старухи, гнев окружающих и невольно сжимаю кулаки.

После затянувшегося тягостного молчания, дед пытается утешить старуху:

— Перестань, не плачь. Много на свете подлецов, притеснителей, у всех у них одинаково мерзкие собачьи повадки. Я много повидал, много раз слышал о таких случаях. Терпи, аллах сам воздаст им по делам их!— Подумав немного, он поднимает голову, спрашивает:— Так, значит, сын твой ушел от мастера Мир-Ахмада?

— Поссорились они... Не откажите, мастер, примите его, жертвой мне стать за вас!— запинаясь, умоляет старуха.

— Что ж, посылай своего сына, старая. Я сам потол-

кую с ним. Попрошу как следует, а потом возьму на работу, дурня.

Старуха долго благодарит деда и уходит, сгорбившаяся, волоча по земле полы своей старенькой паранджи.

* * *

Жара стоит неимоверная. Нещадно палит солнце. Подмастерья и оба дяди обливаются потом, то опахиваются мокрыми платками, то наклонившись, смахивают пот со лба согнутым пальцем. А деду — хоть бы что: лоб усыпан крупными каплями пота, а он работает себе, как ни в чем не бывало, насаживает голенища ичигов на правила, колотит пестом, с треском кроит кожу на новые заготовки.

— Эх, нырнуть бы сейчас в ледяную воду под обрывом, поблаженствовать бы! — говорит круглощекий подмастерье.

Дед только хмуро взглядывает на него, но ничего не говорит. В разговор неожиданно вступает старый подмастерье:

— Да ведь сегодня вторник! — вспоминает он. — Завтра среда, значит, я иду на базар, не так ли, мастер? — Не дождавшись ответа, он продолжает: — Вот продам удачно ичиги — и в прохладную чайхану. Поднаверну мягкой, как пух, лепешки, макая в варенье. А потом зеленого чаю напьюсь до отвала. — По безбородому лицу подмастерья расплывается улыбка.

— Очнись, друг! — охлаждает его другой подмастерье. — Не болтай зря. На этот раз черед мой. У меня и новый, из алачи, халат давно наготове. Приоденусь и пройдусь разок по базару в свое удовольствие... Да, мастер? — Он с надеждой смотрит на деда и говорит мечтательно: — Хорошо на базаре! Душа так и рвется туда, как птица. Шум, гомон. Народу множество: к примеру, что река великая течет, разливается!..

— Довольно, довольно! Занимайтесь своим делом, а там видно будет, — говорит дед, не поднимая головы от колоды.

В мастерской снова устанавливается тяжелая, гнетущая тишина. Слышен скрип раскраиваемой кожи да растягиваемой на весь размах рук дратвы. Все отупели от жары, работают вяло, еле-еле.

Какой-то арбакеш сгружает на улице с арбы песок и уезжает. Я мчусь туда, словно это не песок, а золото.

Бабушка расстилает во дворе кошму, старательно обметает ее веником. Она очень любит выбивать кошмы, поливать и подметать двор, и вообще все, что связано с движением. Такая уж она неугомонная.

Дед встает, осторожно сходит с террасы, усаживается на приготовленное бабушкой место. Он только что рассказывал о разных событиях своего времени, вспоминал случаи из жизни и теперь сидит, скрестив ноги и задумчиво потирая колени.

— О!..— качает он головой.— Жизнь, она, как вода, в один миг промчалась-миновала! И счастливая пора моя миновала, и верблюды, и деньги — все прошло, все миновало. А было время, блаженно покачиваясь на верблюде, я водил караваны и в Чимкент, и в Сайрам, и—слышите!— в самую Каркару! И вот прошла моя пора. Пожил я, побывал, повидал, а теперь — был бы Таш жив, здоров.

Бабушка расстилает с краю кошмы небольшую, стеганую, на вате, подстилку, заново завязывает платок на голове и с клубком ниток в руках присаживается возле деда.

— Да, жизнь проходит, и счастливая пора минует в единое мгновение. Теперь дал бы бог Ташу здоровья покрепче, да детишек побольше — вот о чем моя молитва.— Она задумывается на минуту, вздыхает.— Только вот нет у нас ни клочка усадьбы за городом, ни хотя бы двора чуть попросторнее. Ютимся в этом дворике, величиной с ладонь...

— Э-э!— машет рукой дед, не поднимая задумчиво опущенных глаз.— Нашла о чем говорить! Вся жизнь прошла на коне, на верблюде. И в дождь и в снег по горам, по степям скитался. Добывать на жизнь — дело не легкое, эх-хе!..— И, видимо позабыв, о чем шла речь, продолжает с увлечением:— Лошадь, она, должен сказать, редкостная тварь. Конь в горах, в степи — вернейший друг человека. Так и кажется, что сердце коня бьется вместе с сердцем всадника. Я сам много раз испытал это в своих странствованиях. Даже навоз коня — сокровище. На кизяк ли употребишь его для очага, на другое что. Особенно в дехканском хозяйстве — навоз, что редкостный перл. Слышал я, будто и у лекарей конский навоз ценится чуть ли ни на вес золота. А кумыс кобылий — из лекарств лекарство. Эх, был бы он сейчас, припал бы к чаше с жадностью — и пил бы, пил!.. Особенно в бою или на улаке

конь — бедняга — прямо-таки в ярость впадает. Думается, что и радости в коне больше, чем в человеке. Особенно, если на иноходце едешь — благодать! Коней-орлов, иноходцев повидал я довольно, вспомнишь — и то радостно. Говорят, и у святого Али был конь, Дульдуй, как орел, стремительный.— Помолчав немного, дед вдруг вспоминает о верблюдах.— Однако и верблюд в степи, скажем, или в пустыне, к примеру, что великая река — все ему нипочем. В степи ему довольно сухой колючки. Три дня, четыре дня едешь по пустыне, ни капли воды, а он, бедняга, терпит. Солнце палит, как в преисподней, а верблюду — хоть бы что! Из молока верблюжьего напиток делается, кумран, добрый на вкус. Довольно видал я, довольно пивал. Помнишь, старая, вдруг верблюдица наша разродилась? Ребятишки, женщины так радовались! Что конфетка с бахромой верблюженок был, помнишь?

— Как же, помню. Такой славный был: глаза большие, а сам ласковый, понятливый и такой милый — не налюбуешься,— говорит бабушка, улыбаясь.— И молока верблюжьего довелось отведать.

Глаза деда влажнеют. Он ведет речь дальше:

— Да, только человек, поездивший на верблюде, может знать, чего он стоит, на что он способен. Эхэ, прошла жизнь, как вода, промчалась-миновала. Вспыхнула, блеснула молнией — и погасла.

Бабушка хмурится:

— Э, зачем роптать? Благодарить надо аллаха — восьмой десяток доживаете. Поели, попили, немалые годы прожили...

Дед чуть приметно улыбается, пальцами расчесывая белую бороду:

— Я вообще говорю, старая. Дожить бы, говорю, до свадьбы внуков.

— Ишь, а потом и на невесток внуков посмотреть захочется,— насмешливо кривит губы бабушка.— Старикам всем жизнь сладкой кажется, хочется пожить подольше.

— Дедушка,— говорю я,— вы только и знаете, рассказываете про верблюдов, расхваливаете давние времена. А мне не верблюды нужны, а загородняя усадьба нужна. Смотрите, какая здесь жара, ка в аду. А за городом на просторе — хорошо! Ветерок прохладный подует. Много воды. Дыней, арбузов много. А винограда и того больше. Была бы у нас хоть маленькая загородная усадьба, я сам насадил бы там самых лучших персиков, черешни, урюка. А потом такого бы винограда завел — залюбуешься!..

Дед задыхается от смеха:

— Э, сынок, о чем это говоришь ты? Простор расхваливаешь. Да кому же и знать прелести просторов, как не мне! Денег нет — будь они прокляты! А на загородный сад деньги нужны, малыш. Вот, когда вырастешь, станешь добытчиком, сам приобретешь себе за городом райский сад!

Я молчу. Хмурясь, некоторое время прислушиваюсь к разговору деда с бабушкой. Потом, выбрав подходящую минуту, прошу деда:

— На гузаре дыни появились — и такие сладкие! Идемте, дедушка!

— Э-э, оставь, сынок. Дыни еще не поспели, потерпи. Да и денег нет у меня, — говорит дед.

— Отстань! Совсем ты избаловался. Деньги для нас теперь — что яйцо сказочной птицы Анко! — сердито говорит бабушка.

Нахмутив брови, обиженный, я отправляюсь на улицу.

* * *

— Что случилось с Ташем? Все ли у него благополучно? Здоров ли он? Боже, пропади оно, это постоянное скитанье! — говорит бабушка и тут же поворачивается к деду. — Что вы расселись? Вставайте сейчас же! Хасан-ака приехал, повидайтесь с ним.

Дед прячет под одеяло четки. Говорит.

— Ходил я к Хасану, все благополучно... — И уже тверже: — Странствует он, торгует по степи...

— Три месяца, как он уехал, и ни знака — ни признака от него, от моего единственного сына. Бездушный вы человек! — Мне кажется, что на лице бабушки прибавилось морщин.

Дед отвечает не сразу.

— Не знаю. Когда был в Хумсане, смотришь, смотришь, десять-пятнадцать дней, и уже мчится кто-нибудь с известием. А в Янги-базар уехал — молчит и молчит. — И после небольшой паузы продолжает: — Разъезжает, наверное, по знойной степи детишек ради, ради нас, стариков. Добывать на жизнь — тяжкое бремя, мука, пытка... Муравей и тот постоянно в работе, трудится день и ночь. И человек, к примеру, то же, что муравей. А наше дело — сиди и молись за него в пору каждого из пяти намазов за день. Теперь нам только это и под силу.

Не переставая жужжать прялкой, в разговор снова вступает бабушка:

— Трудные времена настали: за воду плати, за землю плати, налогам и счету нет. Не жизнь стала, а мука сплошная. Этому Николаю, издохнуть ему, до народа никакого дела нет...— Она долго вздыхает и со слезами молит:— Только бы Таш жив-здоров был!..

Глаза деда тоже наполняются слезами. Он с трудом поднимается и, опираясь на палку, еще более сгорбившийся, отправляется к старому Мир-Ахмаду.

Хорошая штука игры. Я шатаюсь целыми днями, играю с утра до вечера. Товарищей у меня много: Кадыр, Агзам, Тургун, Ходжи, Ахмад, Сабир... Кадыр — с виду смиренный, но если разозлится, без всякого лезет в драку. Ахмад — озорник и азартный игрок в ашички. Отец Ходжи — черно-рабочий, еле сводит концы с концами, но порядочный хитрец. И сын в него пошел. Сабир — маленький, но довольно крепкий и бойкий. И вообще ребят в нашем квартале много, и все они не похожи друг на друга.

Для нас все забава: арба, почему-либо оставленная на улице, ашички, чижик, бег наперегонки. Короче: скучать нам не приходится. Каждый день по нескольку раз мы принимаемся за те же игры снова и снова.

Я, хоть в школу не хожу еще, знаю на память отдельные небольшие стихи корана, кое-какие газели Машраба. Выучить их помогла мне старшая сестренка Каромат, и сама же потом удивлялась: «Так скоро и так хорошо выучил, а!»

Всякий раз, когда я повторял заученное, дедушка незаметно прислушивался, а затем после долгого раздумья говорил, обращаясь к матери:

— Сын твой сметливый, Шаходат, грамотеем сделаем этого малого.

— А что ж, будем учить. Только Каромат тоже пусть продолжает учение. Вон Навои, Хафиза читает так, что сердце тает от умиления. И учительница всегда ставит ее в пример.

— Конечно, лучше, если она будет ученая. Девочка — это чья-то жена, но пусть учится. Сам я неграмотный. Спросят «ха», я отвечаю «бе». Таша тоже я самую малость учил, малограмотный он. А внучата пусть будут грамотеями. Да, пусть учатся!— Лицо дедушки светлеет, он улыбается довольный.

Как-то вечером, ровно через шесть месяцев после отъезда в Янги-базар, в калитку неожиданно входит отец. Мать, бабушка встречают его со слезами. Я несмело обнимаю его.

Дед, здороваясь, снова и снова спрашивается:

— Как живешь, как здравствуешь, сын?

— Да живем... в степи,— коротко отвечает отец.

На следующее утро дед подробно спрашивает, как живут казахи, что нового в степи, хорошо ли перелетовали овцы-козы. Отец отвечает лишь короткими «да», «нет».

Дед, понурившись, умолкает. Потом поднимает голову, спрашивает:

— Сколько побудешь дома?

— Три дня,— твердо отвечает отец.

Бабушка говорит сквозь слезы:

— Пусть сопутствуют тебе, сынок, радость и удача! Где бы ты ни был, был бы ты здоров и невредим. Пусть голова твоя будет тверже камня! Я молюсь за тебя в пору каждого из пяти намазов. Будь осмотрителен, сын мой. Дурных людей много, беги от них дальше. Держись ближе к своим. Будь здоров и невредим, поручаю тебя аллаху!..— Всхлипывая, она встает и идет на кухню к матери.

Дед, молча выжидавший, опустив голову, принимается наставлять сына:

— Недругов много, они есть всюду. Дружи только с достойными. Води знакомство с казахами. Казахи — народ добрый, отзывчивый. Мне часто приходилось иметь дело с ними, они любят мир, спокойствие,— особо подчеркивает дед.— Не груби, будь ласковым, обходительным. Я знаю тебя, дерзок ты очень. И попить не прочь, знаю.

Отец нетерпеливо перебивает.

— Ладно, ладно. Хватит уже!

Он торопливо пьет крепкий, как яд, чай в прикуску с сахаром, встает и уходит в чайхану.

Я тоже убегаю на улицу.

Октябрь. В воздухе веет прохладой. Свежей позолотой отливают урюковые деревья, яблони, тополи. Коврами из листьев устлана земля. Синее-синее небо. Солнце ласковое. Стаи облаков плывут в вышине...

Все, у кого были загородные усадьбы, вернулись в город. На улице шум, гвалт. Подростки играют в ашички, ссорятся, дерутся. Малыши мечут орехи. Я тотчас достаю из кармана горсть орехов и тоже вступаю в игру.

Отец, возвращаясь с базара, неожиданно останавливается, протягивает мне пару новеньких сияющих калаш:

— На, надевай!

Крепко прижимая к груди подарок, я невольно бросаю взгляд на свои запыленные до колен ноги, тут же одну за другой ополаскиваю их в ледяной воде арыка и надеваю калоши. Лепечу, задыхаясь от радости:

— Кажется, велики чуточку.

— Ничего, сын, с ичигами будут в самый раз,— ласково говорит отец.

Я мчусь домой, бегу на кухню к матери, занятой приготовлением плова. Кричу с ходу:

— Мама, мама! — Смотрите, хорошие? — и поочередно показываю надетые на ноги калоши. — Я завтра же пойду к дедушке-суфию и получу от него ичиги!

— Да ну? — взглянув на калоши, улыбается мать. — Дай бог...

На террасе отец рассказывает что-то деду, смеется, Сегодня у него хорошее настроение.

А дед вздыхает:

— Стар стал я, слаб стал, мочи нет. К концу подходит жизнь...

— Вы еще крепки, полны сил, вид у вас хороший,— говорит отец мягко.

— Э-э... какая там сила, какая крепость! — возражает дед. — Да, именно так, выдохся я. На молитву кое-как схожу — и все. Как восьмой десяток переступил, и засел сиднем. Ты теперь почаще наведивайся, сын. Слышишь?

— Заботы, отец, что я могу поделывать? Ни конь подо мной, ни сам я не знаем покоя. То в степь скачешь на базар в четверг, то в Шаробхану, то в Турбат... Я и сам с радостью бы приезжал чаще, да возможности нет. Долгов много. Вот и сегодня товару в долг набрал... — смущенно говорит отец.

Дед долго сидит молча, задумавшись о чем-то. Потом уходит на молитву.

Наутро, еще затемно, отец уезжает на своем сильном иноходце.

Просыпаюсь однажды утром, а кругом белым-бело. С неба, кружась, падают пушистые хлопья снега, слышится тихий, приглушенный шум ветра. Вороны каркают, уже затеяли свою, воронью игру: то взмывают и, радуясь, парят, широко распахнув крылья, то важно, вперевалку, расхаживают по снегу; иные ссорятся из-за костей.

Мать с бабушкой в калошах на босу ногу, поскрипывая снегом и поеживаясь от холода, убирают двор, террасу: кошмы и одеяла уносят в дом, разную утварь со двора — на кухню.

Я приподнимаю с подушки голову, осматриваюсь. Снег уже укрыл крышу сарая, двор, укутал урюковое дерево, легким пухом лежит на краю террасы. Я чувствую прилив радости, безотчетно протягиваю руку. Захватываю полную горсть снега, подношу к лицу. Снег холодком пощипывает руки, щеки, лоб, кончик носа, а мне приятно...

Бабушка шумно стряхивает полог, наполовину загоразживавший террасу, потом подходит ко мне.

— Ну вставай же! Чего лежишь, вытянулся? Видишь, снег — так красиво падает!

Глаза у нее слезятся с непривычки к холоду, а на морщинистом лице улыбка...

Я долго лежу, засмотревшись на падающие с неба хлопья, на тонкие ветки урючины, увитые белым пухом. Бабушка опустила на молитвенный коврик, перебирает четки, но по ее просветленному морщинистому лицу видно, что мысли ее тоже захвачены какими-то волнующими, внезапно нахлынувшими воспоминаниями.

Я нехотя выбираюсь из-под одеяла. Наскоро накидываю ватный халат и, не дожидаясь чая, бегу на улицу. Кругом тихо-тихо. Через отворенную калитку виден просторный двор дяди. Там, мурлыча под нос какую-то песенку, в одиночку играет в снежки Кадыр. В это время со стороны мечети показался дед. Старик дрожал от холода и еле-еле переставлял свой посох. Я возвращаюсь вместе с ним.

Очутившись во дворе, дед тотчас подсаживается к тепломю сандалу на террасе.

— Садись, — говорит он. — Холодно, залезай под одеяло.

Сунув ноги под одеяло, которым накрыт сандал, я тесно прижимаюсь к деду и запеваю песню:

Ворона купалась в снегу,
Закрыла вороны глаза,
А бабка, схватив кочергу,
Прогнала в три шен каргу...

Мать приносит бурно кипящий самовар. Весело переговариваясь, мы пьем чай. На скатерти все те же лепешки, и только лепешки. Ни масла нет, ни молока. Бурая корова наша давно продана. Нет ни сахара, ни сушеного урюка. «Хоть бы джида была, что ли!»— думаю я про себя, но молчу.

Иса и Каромат, наскоро пожевав хлеба и выпив по чашке чаю, отправляются в школу. Вместе с ними и я бегу на улицу. Кучка ребятишек играет здесь, осыпая друг друга снегом. Я тоже вступаю в игру. Комья холодного ледяного снега мы туго-натуго скатываем в горстях в снежки и стреляем ими друг в друга. Ссоримся, снова миримся и играем, играем до усталости.

Снег уже идет не так сильно, как утром, только легкие снежинки порошат реденько. Время от времени из-за туч выглядывает солнце, и тогда ветви деревьев, живописно увитые хлопьями снега, вдруг начинают сверкать тысячами искорок.

Когда надоедает играть, мы всей ватагой отправляемся на перекресток большой улицы. Там, усевшись в ряд на корточки, с интересом глазеем на вагоны конки, с беспрерывным звоном проносящиеся мимо, на лошадей, с тяжким храпом скачущих впереди каждого вагона.

На гузаре людно: много босых, убого, не по-зимнему одетых людей, дрожащих от холода. Лавочники, сунув ноги в крошечные сандалы и зябко поеживаясь, крошат морковь. А сынки богачей проезжают мимо, развалиясь в седле или же на мягких сиденьях колясок.

На плоских крышах парни лопатами сгребают снег. Кто-то в шутку сбрасывает на нас целый сугроб. Снег белит нам головы, плечи. Мы, шутя, перебраниваемся с парнями, потом затеваем шумный разговор:

— Хо, а я недавно с отцом на конке прокатился! Далеко, в самый город ездили. Вот здорово!... И еще поедем с отцом. Ох, и кони резвые!— говорит один мальчишка.

— А я еще ни разу не ездил на конке, денег нет,— говорит другой.

Неожиданно появляется караульщик.

— Ну, что вы тут расселись журавлиным рядом?— орет он, страшно выпучив глаза.

Я отвечаю почтительно:

— Дядя, мы на снег любимся, вон как хорошо кругом!

Караульщик — невзрачный человек, очень раздражительный и злой; усы длинные, зубы редкие, глаза выпученные, всем своим видом напоминает наркомана. Он живет в нашем квартале, один в маленькой хибарке. Мы очень боялись его.

Он замахивается палкой.

— Мерзавцы! Убирайтесь отсюда! А то вот дам свисток...

Мы, мальчишки, бросаемся врассыпную. Только один не очень проворный, как всегда, попадает в руки караульщика и ревет что есть силы.

Солнце давно вышло из-за туч. С крыш, с водосточных желобов со звоном зачастили крупные прозрачные капли. Крыши почти сплошь камышовые, залитые глиной. Только изредка увидишь железную, значит, считай, там байский двор.

У нас в доме, кроме Исы, нет никого, кто мог бы сгрести снег. Дед стар, даже с палкой еле-еле передвигается, я — мал. Иса, вернувшись из школы, лезет на крышу, тужась через силу, сбрасывает во двор уже начавший таять снег. Я тоже взбираюсь по лестнице, волоча за собой обломанную по краям старую лопату. С минуту стою, раскрыв от удивления рот: горы, белые от снега, кажутся мне совсем рядом.

Иса кричит мне с крыши:

— Эй, куда ты? Брось лопату!

Я бросаю лопату и рукавом утираю под носом.

— Слезай сейчас же! — опять кричит Иса. — Свалишься, здесь очень скользко.

Я нехотя спускаюсь во двор. От нечего делать некоторое время кружу по улице. Потом отправляюсь к бабушке Таджи. И не без умысла. Семья бабушки Таджи имела сад за городом. Осенью они привозили оттуда порядочно сушеного урюка, изюма, патоки. Урюк был у них неважный, с присохшей к косточке мякотью, но я все-таки ради него часто захаживал к ним.

Первым меня встречает младший сын бабушки, Мумин, паренек лет шестнадцати. Он только что закончил сгрести снег с крыши и сходил с лестницы.

— А, приятель! Заходи, заходи!— улыбается Мумин.— Знаешь, я одну интересную сказку запомнил.

— Э-э, сказки лучше слушать вечером,— уклончиво говорю я.

— Ну, тогда расскажи ты, а мы послушаем.

Очистив лопату от снега, Мумин ставит ее к стене террасы, а сам, потирая руки, подсаживается к сандалу.

— Снегу много выпало, хорошо для пшеницы!— говорит он, поудобнее устраиваясь у сандала. Потом приподнимает край одеяла:— Давай, садись!

Я поглубже залезаю под одеяло. Бабушка Таджи — полная, могучего сложения старуха — заглядывает под сандал, лопаточкой ворошит угли, от них пышет жаром.

— Сказку я вечером расскажу,— говорю я Мумину, зная наперед, что он начнет упрашивать меня.

В это время из дома выходит Тураб, старший брат Мумина. Это был уже взрослый парень лет девятнадцати-двадцати с темным цветом лица и крупной головой.

— Э-э, ничего вы не знаете. У этого плута на уме только сушеный урюк,— говорит он, посмеиваясь, потом поворачивается ко мне:— Условие у нас будет такое, друг мой: хоть еще не вечер, сказку ты нам расскажешь, и тогда — получай урюк.

Радуясь в душе такому обороту дела, я сразу же соглашаюсь.

— Было ль то, не было, только жил на свете один бедный-бедный джигит... — Я рассказываю длинную смешную сказку. Все хохочут, а я помалкиваю, утираю рукавом нос, потому что сегодня из него течет больше обычного.

— А теперь гоните ваш урюк!— говорю я дяде Турабу, кончив сказку.

Мумин перебивает меня.

— Постой!— говорит он.— У тебя в запасе есть еще одна интересная сказка, расскажешь ее, и я дам тебе целую пригоршню урюка.

Бабушка Таджи смеется, но принимает мою сторону:

— Вторую он вечером расскажет, таково было условие.— Она с натугой поднимает свое крупное тело, приносит из кладовки пригоршню сморщенного твердого, как камень, сушеного урюка и высыпает мне в шапку.

Я сую ноги в калоши и без оглядки пускаюсь наутек.

В это время на улице слышатся шум, крик. Ссоры у нас случались часто. В нашем квартале, где дворики и домишки тесно лепились друг к другу, всем были извест-

ны печали и заботы каждой семьи. Жизнь, сгинуть ей, была очень тяжелая. Изо дня в день у всех в казане варился жидкий суп, а то просто постная шурпа. Если иногда у кого-либо готовился плов с полфунтом мяса, это считалось праздником в доме. Положение у всех было стесненное, над каждым домом, над каждой семьей тяжело нависала нужда, бедность...

На этот раз шум доносился со двора наших соседей. Ссору затеял дядя Гаффар. Это среднего роста плечистый мужчина с красным, как гребень петуха, лицом, с хитрыми глазками и с широкой, похожей на торбу, бородой цвета зеленого горошка, перемешанного с рисом. Летом он затемно уходил на базар в поисках случайной поденной работы. Зимой торговал венчиками. Заготовив целую гору материала, он ночами, не смежая глаз и с большим усердием, вязал венки, а после полудня, погрузив на широкие плечи свой «товар», отправлялся на базар. Таким путем он кое-как содержал свою большую семью. В нашем квартале все так — один веничник, другой ткач, третий сапожник, четвертый сидит в мелочной лавчонке... У каждой семьи своя жизнь, свои бесчисленные тяготы, заботы, свои печали...

Жена дяди Гаффара — тетя Рохат — довольно симпатичная женщина, белолицая, с живыми глазами. Сейчас она плакала навзрыд, говорила что-то с горечью и обидой.

Дядя Гаффар орал на нее:

— Эй, ты, ведьма! Замолчи, говорю тебе, подлая! Довольствуйся рисовым супом и тысячу раз благодари бога! Что такое плов, я сам хорошо знаю, да где взять денег? Летом я — чернорабочий, зимой — веничник, ты же сама знаешь это, глупая твоя голова!

А жена кричала еще громче мужа:

— Знаю, знаю! Скорее у камня выпросишь, чем у тебя! За копейку душу отдать готов. Только и слышишь: терпи, терпи, терпи! Да пропади оно пропадом, может ли быть терпение больше моего? Сколько времени уже казан наш, расколется ему, плова не видит? Сегодня целый день ждала, все глаза проглядела, не принесет ли, думаю, мяса, сала, не удастся ли приготовить детишкам горсть плова, бессовестный, провалиться тебе!..

Ревут детишки, орет, бранясь, дядя Гаффар.

Соседям, особенно мужчинам, до скандала дела нет. Перебранки случаются каждый день, все к этому привыкли.

— Сами утихóмрятся,— говорит моя бабушка, махнув рукой.

Но ссора между мужем и женой не стихает, а все больше набирает силу. Тетя Рохат уже уселась верхом на невысокий, жиденский дувал, разделяющий наши двory, и кричит, рубя рукой воздух перед собой.

Мать начинает увещевать ее.

— Рохат! Хей, Рохат, довольно, перестань! Что это такое? Постыдилась бы!

— Вой-воей! — волнуется тетя Рохат. — Милая, да ведь надоело до смерти! Слышите, что изрыгает рот этого бородача, сдохнуть ему?!

Бабушка, стоя на террасе, уговаривает старика:

— Стыдно, Гаффарджан! Хоть бы ты перемолчал. И ты, Рохат, перестань вопить. Все мы бедняки, все мы нищие, и у всех у нас одна надежда — на аллаха! Потерпи. Вот подрастут детишки, и вы свет увидите.

— Боже, пропади оно пропадом это терпение! — со слезами говорит тетя Рохат, но все-таки слезает с дувала.

Дядя Гаффар еще некоторое время кричит, бранится. но в конце концов и он стихает.

* * *

Суровая зима... Мороз, резкий пронизывающий ветер. Глубокий снег скрипит под ногами. Редко-редко покажется солнце, и то не греет...

С террасы мы перекочевали в дом. Голуби, горлинки, воробьи бродят голодные, нахохлившиеся от холода. Мне жалко их, и я горстями посыпаю им мелко крошенный хлеб. Бабушка, если находит во дворе замерзшего ночью воробья или горлинку, хоронит их бережно, выкопав ямку под дувалом.

А мы, мальчишки, не знаем покоя: играем в снежки, деремся, миримся — и так целыми днями. В один из таких холодных дней, собравшись всей ватагой, мы катались по льду водоема. Неожиданно один из мальчишек — довольно крепкий и ловкий парнишка лет семи-восьми — попал в прорубь. Мы подняли крик. Поблизости никого из взрослых не было. Вдруг откуда ни возьмись, подбегает Махсум-байбак. (Мы так прозвали этого парня за то, что он был очень вял и ленив.)

— Что случилось?

— Мальчишка утонул! — отвечаем мы все разом.

Махсум-байбак молча срывает с себя чапан, швыряет его в сторону и через узкую дыру ныряет под лед. Мы все стоим, затаив дыхание, не сводим глаз с проруби. Вдруг над водой показывается голова Махсума, он выбрасывает мальчишку на лед, затем выбирается сам и, не попадая зуб на зуб, сразу закутывается в свой чапан.

Ребята постарше подхватывают парнишку, выносят его на берег водоема. Собирается народ. Один из подошедших парней поднимает пострадавшего на руки и несколько раз встряхивает его. У того из рта льется вода.

— Растирай, ноги-руки растирай ему!— советует какой-то старик. Потом трогает рукой грудь мальчика, говорит:— Живой, выйдется, человеком будет. Только быстрее несите его к матери, пусть согреет у сандала.

Какой-то парень поднимает мальчишку на руки. А мы всей гурьбой бежим следом.

* * *

Дед сидел в небольшой хибарке, сырой и темной. Это была наспех слепленная клетушка, холодная, с маленькой, кое-как навешанной дверкой. На нем был толстый ватный чапан; на голове надвинутая до ушей старая облезлая шапка. Сидел он молча, понурив голову, отдавшись каким-то своим мыслям.

Я вхожу, легонько толкнув ногой дверку. Протягиваю ему чашку с похлебкой из маша и рисовой сечки:

— Машхорди... Горячая, ешьте, дедушка!— И подсаживаюсь к сандалу.

Дед шарит рукой под ватной подстилкой, подает мне горсть махровых конфет и сахару.

— На, бери! Только чтоб бабушка не узнала, слышишь?— говорит он, и по лицу у него расплывается улыбка.

Я, конечно, рад. Дед тоже доволен, легонько кивает головой:

— Нашел ключ, тихонько открыл сундук и взял вот для тебя. Но смотри, бабка чтоб не увидала! Старуха скупая... — говорит он, помешивая деревянной ложкой машхорди.

Бабушки дома нет, она ушла на Лабзак, к моей тетке. Муж тетки страдал головными болями, и они вчера зарезали козу, чтобы совершить обряд изгнания злых духов и затем устроить угощение с богоугодной целью, и забрали к себе бабушку.

Дед медленно жует хлеб, хлебает машхорди. А я, с хрустом поедая конфеты и сахар, прошу:

— Дедушка, расскажите о прошлых временах!

— Молчи, сынок,— говорит дед, поглаживая бороду.— Все сказки выскочили у меня из памяти, хоть я и знал их великое множество.

Я продолжаю приставать:

— Дедушка, милый, расскажите...

— Ах, проказник! Состарился я, все теперь улетучилось из памяти,— говорит дед, покашливая.— В молодости я знал много длинных-длинных сказок, а теперь все перезабыл. Оскудела память. А когда-то, бывало, посту-чу костяшками счетов и в минуту произведу любые расчеты-пересчеты.

Дед долго молчит, видно, думает, вспоминает. Потом, откашлявшись, медленно, слово за словом говорит:

— Ну, слушай хорошенько. Я спою тебе песню. Всю не помню, а то, что осталось в памяти, спою.— И начинает петь:

Снег на улице лежит,
Ночь луной вокруг глядит.

Сваты к девушке пришли
И барана привели.

И очаг горит огнем,
Мясо жарится на нем.

Не скажи, не жирен плов:
Был откормленный баран весом!
Не скажи, что выстудили кров:
В очаге огонь и дым столбом!

На террасе старики сидят,
На костер во все глаза глядят.

Щек не обморозили б они —
Чаю им в кумгане вскипяти!
На старух поласковой взгляни —
Лишь бы не скандалили они.

А на девушках наряд!
Жемчуга сверкают и горят.

Игры шаловливые ведут,
В танце, словно пери, проплывут.
Песню запевают — «Яр-яр-яр!»
Слезы утирают — «Яр-яр-яр!»

Дед умолкает, улыбается:

— Все, малыш!

Я опять прошу:

— Хорошая песня, дедушка, спойте еще.

— Все! — говорит дед, — Ничего не осталось в памяти, все перезабыл. — Потом опять задумывается, а минуту спустя продолжает: — Однажды бежит Лиса, добычу вынюхивает, а навстречу ей Павлин, хвост распустил. Лиса и говорит: «О, Павлин! Слышала я, ты пляшешь чудо как хорошо. Спляши же, порадуй меня». Павлин еще пуще распустил хвост и пошел плясать. А Лиса смотрела, смотрела, облизывалась — проголодалась очень, — да как схватит его. Павлин видит, Лиса недоброе задумала и говорит: «О, Лиса! Что ты делаешь?» А Лиса ему: «Я, говорит, проголодалась очень, хочу тебя съесть!» Павлин говорит: «Ладно, ешь, только прежде ты должна молитву прочесть». Лиса забормотала что-то про себя, подняла передние лапы и только успела сказать: «Омин велик аллах!», как Павлин — «Фрр!» и улетел от Лисы, из-под самого носа... Все, конец! Старость, сгнуть ей, добра от нее мало. Сил нет, все время ко сну клонит... — Помолчав минуту, дед качает головой: — А все же немало мною прыскано по свету. По степям, по пустыням на верблюдах немало поезжено...

— Дедушка, расскажите еще! — прошу я, поглаживая деду бороду.

— Хватит, сынок. Если придет что на память, завтра-послезавтра расскажу, — говорит дед, лаская меня сухой морщинистой рукой.

Я обнимаю его колени, заглядываю в мудрые, задумчивые глаза. Соглашаюсь:

— Ладно, дедушка, завтра.

Дед тихонько опускает отяжелевшие веки и погружается в долгую думу.

* * *

Приходит весна. Урюковые деревья, персики, вишни, сливы, доверившись теплу, одно за другим торжественно облачаются в легкие светлые одежды. Чарующая пре-

лесть цветов, нежная зелень листьев вызывают чувство восторга, душевного подъема.

Местом наших игр теперь становятся крыши. А помощником и соучастником наших ребячьих забав — весенний ветер. Все ребята увлекаются бумажными змеями. Мечтой, заветным желанием каждого становится «курок». Курок — это большущий змей, сделанный из плотной разноцветной бумаги. Бывали куроки, которые могли нести под собой зажженный фонарь. Мне самому доводилось видеть такие. Лучшими мастерами по курокам были Махкам и Мумин. Темной ночью их змеи гудели на ветру с мерцающими, как звезды, фонарями.

Я тоже не отстаю от товарищей, мастерю маленького змея. Долго вожусь с ним, но в конце концов запускаю, пробежав от одного края крыши до другого.

Погода стоит мягкая. Дует ласковый весенний ветерок. Величаво плывет в небе солнце... Крыши, особенно старые, глиняная заливка которых не была обновлена прошлой осенью, поросли нежной травкой. А в траве огнем горят алые маки...

Внизу вдоль узкой улочки, поблескивая на солнце, тянутся длинные полосы шелковой основы. Когда-то ткачи нашего квартала выпускали бязь. Многие из них вынуждены были бросить свое дело, а некоторые начали переходить к тканью местного шелка. Тут же, прислонившись к дувалу, сидит мой дед. Всякий раз, когда на улице натягивали основу, он любил сидеть вот так на солнышке и беседовать с ткачами.

Когда змей наскучил мне, я спрыгнул прямо на улицу. Дед вздрогнул:

— Проказник, с крыши сиганул, а!

Я со смехом притискиваюсь к нему под бок. Дед успокаивается, обнимая меня одной рукой, продолжает беседовать с ткачами.

— Эрмат, свет мой, ученик твой ушел, что ли, от тебя? Смирный, покладистый парнишка был.

Высокий, лет пятидесяти безбородый ткач говорит сдержанно, продолжая заниматься своим делом:

— Да, ушел. В Фергану уехал. Вот прибавилось фабричного товара, и в нашем деле наступил застой. Ткачей шелка и тех совсем мало осталось: там один, тут один... Скоро и мне, наверное, придется свернуть дело. Расходов и тех не оправдываешь.

Дед кивает головой:

— Ты прав. Раньше все люди носили простую бязь.

Девушки, женщины и те в бязь одевались. А появился ситец, и дела ткачей пошли на убыль. Фабриканты утопают в деньгах. Выходят все новые и новые товары — бархат, плис, сукна, шелка и всякие прочие штуки. Да, здорово переменились времена. Но, сын мой, худые это времена. Злодеяниям и притеснениям нет предела. Правде, справедливости пришел конец. Нам только и осталось уповать на аллаха, друг мой!

— Верно, отец! Справедливые слова. Бедняки, немущие в обиде, а сытые кутят, распутничают.

Дед легонько трогает бороду, говорит ткачу:

— Запасись терпением, сын мой, и достигнешь своих желаний. Но мой совет тебе такой — бросай ткачество. Занятий всяких много, берись за какое-нибудь подходящее по времени. Даст бог и придет к тебе удача.

Я тяну деда за руку:

— Идемте, дедушка, на гузар сходим!

— Ах, сорванец! Ну, идем, идем, — говорит дед, с трудом поднимаясь на ноги.

Взявшись за руки, мы отправляемся на перекресток, к лавкам.

* * *

Деду нездоровилось. Уже будучи больным, он некоторое время еще держался кое-как, а потом слег окончательно. Теперь он уже не сходит с постели на террасе. Лишь иногда приподнимется через силу и посидит на солнышке, сунув за спину подушку.

— Хорошо бы Таш приехал. Сил нет, ко сну клонит, это знак близкой смерти, похоже сочтены дни мои, — часто говорил он бабушке.

Приехал отец. Он, хоть в душе и был опечален, старался утешить деда, когда тот начинал жаловаться на недомогание.

— Не бойтесь, — говорил он, — вы хорошо выглядите, отец, и еще поживете.

А тетка с Лабзака чуть не каждый день приводила всех своих ребятишек и плакала, не переставая. Так что деду самому приходилось утешать ее.

— Перестань, не плачь, доченька, — говорил он. — Смерть — это наследие наших отцов...

Хорошо помню, как он дрожащими руками брал иногда дочку тетки и мою сестренку Шарофат (они были еще младенцами). Подержит, пожелает им:

— Пусть долго живут и здравствуют! Боже, пусть здравствуют и живут они до тысячи лет! — расцелует и вернет детишек матерям.

Я часто подсаживался к нему, ласкался, трогал бороду, гладил щеки. А он легонько похлопает меня по спине и скажет:

— Иди играй, мой мальчик. Что тебе сидеть? Беги к своим товарищам.

Дед умер, когда я был на улице. С нашего двора донеслись громкий плач, причитания. Прибежал я, а отец, бабушка, мать, тетка уже сидят у изголовья дедушки и плачут. Отец, вытирая платком слезы, повернулся ко мне:

— Беги в школу, позови сестренку свою Каромат.— И сам поспешил зачем-то на улицу.

Около деда собираются дядя, бабушка Таджи и другие близкие родственники. Я спохватываюсь, бегу к дому учительницы. Через ворота вбегаю на просторный двор, подхожу к сестренке. Шепчу:

— Умер... дедушка... Идем скорее!

Каромат побледнела, застыла на мгновение и вдруг громко зарыдала. Учительница сразу догадалась, в чем дело. Она шепотом прочитала молитву, провела руками по лицу, потом тихонько сказала что-то сестренке. Каромат дрожащими руками торопливо сунула книги в сумку, и мы молча побежали домой.

Во дворе у нас уже собрались жители квартала, соседи, знакомые, родственники. В полдень дедушку понесли на кладбище. Я был мал, но все хорошо помню. Мы долго шли через Беш-агач к Бурджару. В камзоле, подпоясанный новым поясным платком, в старенькой тубетейке, босой, я семенял в толпе, запинаясь на каждом шагу и проливая слезы. Было жарко, душно. От жары у меня пересохло во рту. На Беш-агаче я напился из большого канала, черпая горстью мутную воду. На кладбище, когда дедушку стали засыпать землей, я заглянул в могилу. Как страшно! Дядя сердито оттолкнул меня в сторону. Тут какой-то старенький человек начал громко читать коран. Все притихли. «Бедный дедушка! Как же он останется в этой глубокой, темной могиле? А если сейчас явятся Мункар, Накир!» — внезапно мелькнула у меня мысль, и меня бросило в дрожь. Огромное, в глубоком безмолвии кладбище вдруг показалось мне каким-то иным, нездешним миром. Страшно! Как страшно!..

Мать, тетка, сестренка Каромат встретили нас громким плачем. Бабушка сидела молчаливая и печальная. Время

от времени по ее морщинистым щекам скатывались одна-две слезинки.

Вечером, еще до наступления темноты, бабушка зажгла в углу комнаты свечу. По очереди читают коран. Я один дольше всех задерживаюсь в пустом доме. Шепотом читаю по памяти какой-то — не помню уже — стих корана, которому меня научил дедушка. Читаю со слезами, с чувством, от всей души. Сердце мое, кажется, обливается кровью, и я вдруг громко рыдаю. Потом долго сижу молча. Вспоминаю каждое дедушкино слово. На душе у меня так же пусто и темно, как в этой пустой и темной комнате. В дверь тихонько входит мать.

— Что ты сидишь тут один в темноте? — с дрожью в голосе говорит она. — Это может худо кончиться. Идем! Она берет меня за руку и уводит на террасу.

Глава вторая

ШКОЛА

Я рано вскочил с постели, быстро оделся.

На дворе осень. Каждое дерево — факел. Как стекло, прозрачна вода в арыке. В воздухе легкая дымка, чуть приметная. Цветут розы, выюнки, всяких сортов портулаки — им нипочем первые осенние заморозки.

Когда я торопливо умываюсь в арыке, ко мне с чайником подходит мать.

— Рано ты поднялся, прежде еще спал бы, — говорит она улыбаясь. — Самовар уже вскипел. Иди, попей чаю. Дам тебе чистую рубашку, наденешь триковый камзол, щеголем будешь выглядеть. Учитель твой любит чистоту.

Мать сама одевает меня, украшает голову тубетейкой, которую сшила для меня своими руками. Я с нетерпением, торопливо пью чай. Мать подает мне новенькую дощечку, она бедная, сама выстрогала, выгладила ее до блеска.

— Смотри, хорошая? — спрашивает она, внимательно и любовно оглядывая меня с головы до ног. — Учитель азбуку напишет на этой дощечке...

— А я сразу же заучу ее, в минуту запомню свой урок! — захлебываясь от радости, говорю я и крепко прижимаю дощечку.

Мать заворачивает в большую скатерть мягкие сдобные лепешки, завязывает в узелок серебряный целковый.

Мы отправляемся к деду-сапожнику. Я бегу впереди с дощечкой под мышкой.

Остановившись у порога мастерской, мать здороваётся, передает деду завернутые в скатерть лепешки и деньги:

— Отец, отведите Мусабая в школу!

Морщинистое лицо деда светлеет, строгие глаза сияют улыбкой!

— Добро, добро! — говорит он. — Пусть учится, грамотеем будет! Все мы неграмотные, необразованные... Очень хорошо, пусть учится! Кто учится, становится человеком сведущим, ученым, а неученый — все равно что слепой...

Оба дяди, подмастерья, ученики посмеиваются.

— Учись, учись. Только смотри, не сбеги, слышишь, племянник! — кивает мне головой дядя Рахимберды. — До сих пор ты шатался по улице, был на посылках у шайтана. А теперь довольно, все твоё внимание, помыслы направь на учение!

— Думаете, он будет учиться? — говорит рябой подмастерье. — Вот увидите, не пройдет и двух дней, как сбежит. Ученье — дело не легкое, это не шутка!

— Зачем так говорить? Он будет учиться, мальчик он разумный, понятливый, — с досадой возражает мать и, не торопясь, уходит на внутреннюю половину двора.

— Издохнуть тебе, рябой! — неслышно шепчу я, отворачиваясь от подмастерья.

— Ну, пошли, внучек! Раз решил учиться — все, никого не слушай, — твердо говорит дед.

Через минуту мы уже подходим к школе. Школа была в этом же квартале, рядом с мечетью. Состояла она из одной довольно просторной комнаты.

— Ассалам алейкум!

Все ученики дружно вскакивают, разом выкрикивают приветствие деду и шумно опускаются на свои места.

Учитель здороваётся с дедом:

— Ваалейкум ассалам! — Справляется, оглядывая меня с ног до головы: — Это мальчик вашей слабенькой?

— Да, дочки моей, — отвечает дед. Он бережно кладет перед учителем узел с лепешками, протягивает ему рубль.

Учитель — видный из себя, подвижной, худощавый человек с огромной чалмой на голове, с длинной бородой и большими умными глазами на смугловатом лице. Привычным движением он ловко прячет деньги в кармашек для часов, затем, подняв руки, читает краткую молитву. Дед с чувством произносит:

— Омин! Пусть учится, пусть станет грамотеем! — и тоже проводит руками по лицу.

Учитель садится, жестом приглашает меня занять место напротив:

— Ну, Мусабай, садись, сынок!

Я, краснея, подгибаю колени, опускаюсь на пятки. Учитель, придерживая на коленке одной рукой дощечку, пишет на ней что-то чернилами.

— Всего доброго, почтенный! Бейте, браните, но сделайте из него грамотея. Мясо ваше, кости наши! — Дед прощается и выходит, низко кланяясь.

Учитель быстро красивым, каллиграфическим почерком переписывает на дощечку азбуку. Затем внушительно и торжественно нараспев читает:

— Алиф, бе, те...

Я охотно, с увлечением повторяю вслед:

— Алиф, бе, те...

— Молодец! Довольно, хороший джигит! — говорит учитель, передавая мне дощечку. — Иди, садись вон на то место! И хорошенько затверди урок.

Теряясь от смущения, я кое-как пробираюсь между рядов учащихся и сажусь среди малышей.

В школе стоит сплошной шум. Все ученики разом выкрикивают каждый свой урок, громкий галдеж переполняет классную комнату, вырывается наружу. Старшие высокими звучными голосами читают коран, Хафиза, Физули, Навои. А я вместе с прочими малышами настойчиво твержу азбуку. Твержу долго. До изнеможения, до хрипоты, до пота. Учитель время от времени проходит по рядам учащихся, попутно похлестывая кое-кого плетью. После этого ребята кричат еще громче. Я дрожу от страха, еще ближе подношу дощечку к глазам и твержу еще старательнее. Под конец я устаю окончательно.

Наступает полдень. Учитель и хором все ребята читают отрывок из корана, затем короткую благодарственную молитву, шумно поднимаются со своих мест и бегут на улицу. Я тоже кричу и бегу вместе с другими.

* * *

Каждый день я хожу в школу.

В классной комнате стоит постоянный шум, галдеж. Среди учащихся много пареньков семнадцати-восемнадцати лет. У них вошло в привычку, пользуясь шумом, обме-

ниваться во время урока разными непристойными шутками, толкаться исподтишка, грозить друг другу кулаками.

Иса тихонько переговаривается о чем-то со своим товарищем. Я прислушиваюсь, но ничего не могу разобрать. Потом догадываюсь: они говорят на особом, непонятном для других, условном языке.

В школе обучаются семь или восемь будущих чтецов корана — кары, больших и малышей. Они всегда сидят перед учителем и на память усердно читают нараспев коран. Читают, закрыв глаза, до хрипоты, до изнеможения.

Учитель усаживает рядом с собой одного из кары, сдвинув брови, строго приказывает ему:

— А ну, читай!

Мальчик нараспев начинает читать коран по памяти.

— Кола, юмла ют...

Едва он успевает дрожащим голосом произнести эти слова, как учитель бьет его по щеке. У мальчика загораются уши.

— А где же у тебя зери, забар, свинья?— кричит учитель, краснея от злости. — Иди, повторяй снова!

Мальчик тихонько, с опаской встает и, прикрывая рукой щеку, занимает свое место среди чтецов корана.

Учитель сам хорошо умел читать, с выражением, нараспев и строго спрашивал со своих учеников.

Я ни на минуту не прекращаю твердить азбуку. От усталости и хрипоты голос мой звучит глухо, сипло.

— Хей, Мусабай! Давай устроим «бой баранов», — шепчет мне один из мальчишек, украдкой показывая мне лучину от циновки. — Вот, смотри, какой у меня «баран».

Из-за страха перед учителем, я тихонько шепчу, не отрывая глаз от дощечки с азбукой:

— Нет, не выйдет, учитель увидит, побьет! А «баран» и у меня есть, еще здоровее твоего. Потом покажу...

* * *

Я быстро перезнакомился с младшими школьниками.

Обучают нас старшие ученики, учителю до нас, малышей, дела нет. Он лишь время от времени подзовет кого-либо из нас, усадит перед собой, заставит читать, а сам только слушает. Когда кто-либо из ребят принесет ему в подношение плова ли, сдобных лепешек ли, коржей, учитель, довольный, радуется.

— А ну, свет мой, Мусабай, подойди-ка сюда! Азбуку

заучил уже? — спросил меня учитель, когда прошло две недели.

С дощечкой в руках я застенчиво опускаюсь перед учителем на пятки, во весь голос бойко прочитываю азбуку от начала до конца.

— Молодец! Но все же есть ошибки, не везде гладко. Иди к кому-либо из старших, пусть подучит, — говорит учитель и громко чихает, смешно сморщив нос.

Я подхожу к одному из старших учеников, рослому парню с уже обозначившимися усами.

— Э-э, надоели до смерти ваши уроки! — ворчит он с досадой. — Убирайся, пусть домла сам обучает тебя. Деньги получать умеет...

Я упрашиваю.

— Надоело уже — то сам учишь, то других учи... Ну, садись, подучу малость, — говорит старший устало.

Меня зло взяло.

— Ладно, не надо! И сам знаю не хуже твоего... — Я поворачиваюсь и сажусь на прежнее место.

Так проходят уроки, проходят дни. Подражая другим, я тоже начинаю шалить. Мы устраиваем «бараньи бои», играем в орехи, даже в ашички. Если, бывало, заметит учитель, — ей-богу! — всех обойдет и всех одарит добрым ударом плетки.

Ребята то и дело выбегают во двор. Нужник — это просто повод, отговорка... Побегав по двору, пошутив, посмеявшись, мы немного отдыхаем таким образом. Во дворе был водоем, ради забавы мы умываемся, не торопясь, пьем воду. А то сразу же начинаем играть в ашички или в другую какую игру.

Но учитель хитер, он и против этого умеет найти меры. Как-то он подзывает к себе одного рослого парня, расторопного и преуспевающего в учении.

— Иди вырежь тополевою ветку и хорошенько оскобли ее!

— Будет исполнено, учитель! Я со всей душой, — приложив руки к груди, изгибается в поклоне парень. — Вы уже приказывали однажды, так я теперь сразу две хороших бирки сделаю, — говорит он и торопливо уходит.

Встревоженные, мы все затихаем на минуту. Потом начинаем перешептываться.

Парень вскоре возвращается и кладет перед учителем две аккуратных палочки — обе начисто ободраны, гладко выскоблены, и на каждой с одного конца веревочка привязана.

— Добро! — говорит учитель и показывает нам палочки: — Вот смотрите, это бирки! Если кому-либо понадобится справить нужду, тот должен испросить позволения: «Учитель, разрешите выйти!» Я дам ему бирку и разрешу отлучиться.

В комнате установилась глубокая тишина.

— Ну, продолжайте занятия! — приказывает учитель, положив перед собой бирки.

После этого отлучки учеников несколько сократились. При нужде, мы просили у учителя позволения и, получив бирку, бегали по-одному. Но такой жесткий порядок продолжался всего шесть-семь дней. Потом, мы, ребята, сговорились и нашли способ избавиться от бирок. Кто-то из старших забросил их на крышу.

— Да, знаю. Озорников среди вас много, — говорит учитель и приказывает еще одному парню: — Иди, сделай еще две бирки!

Проходит два дня, новые бирки тоже исчезают. Учитель нервничает, кричит с досадой:

— Опять затеряли бирки? Что ж, ладно... Это потому, что среди вас есть дурные мальчишки. Знаю сам. — Он хмурится, с минуту сидит молча, затем уже спокойно говорит: — Дети, идет зима, волоча за собой свой меч. Погода портится, пойдет снег. Несите по одному целковому на уголь.

Ребята начинают тревожно перешептываться. Учитель, как можно мягче, продолжает:

— Да... И еще, светы мои, несите деньги на циновки. Эти в труху растрепались уже, стыдно! На циновки по три тенги. Скажите. вашим родителям, и поторопитесь со сбором. Срок — неделя...

Учитель запахивает халат на коленях:

— Ну, а теперь за уроки!

Сироты и бедняки перешептываются: «Что будем делать?» Все мы расстроены.

Немного погодя учитель поднимается. Обращается к одному из чтецов корана, худощавому подслеповатому парню лет двадцати, в рубашке с «духовным» воротником, говорит:

— Ты присмотри за ребятами, у меня кое-какие дела есть. Я сейчас же вернусь.

Как только учитель уходит, в комнате поднимается шум, гвалт, начинается потасовка. Бедняга подслеповатый кары пищит тонким жалобным голоском:

— Перестаньте! А то, смотрите, вот камча! Занимай-

тесь! — Будущий чтец корана пытается подействовать на класс угрозой, потом начинает упрашивать слезно: — Ребята, как не стыдно?

А ребятам хоть бы что: перемигиваются, хохочут, передразнивают кары. Шум, буйство разгораются все сильнее. Начинается драка. Мы, малыши, ухватившись за руки, устраиваем качели, кувыркаемся, ходим колесом. А старшие переругиваются, дерутся. Одного уже избили до крови. Есть в школе здоровенные парни, мастера борьбы и кулачных расправ. Часть из нас выбегает во двор и затевает игры.

Неожиданно возвращается учитель. Мы разом летим в комнату. Рассаживаемся по местам и тотчас принимаемся за уроки. В комнате — пыль до потолка, циновки разбросаны, разорваны в клочья...

Учитель, сдерживая гнев, молча опускается на свою подстилку. Подслеповатый кары дрожит от страха, жалобно мяучит:

— Господин! Я и кричал на них, и бранился... Никак не мог сладить... Слепой я, что поделаю, никто меня не слушается...

Учитель был очень расстроен.

— Открой окошко! — приказал он одному из учеников. — Бой-бой-бой, пыль какая!.. — Он долго кашляет, потом кричит, краснея от гнева: — Занимайтесь своими уроками, окаянные? — Хватает в руку плат, но почему-то никого не бьет.

* * *

Учитель достает из нагрудного кармана часы. Мельком взглянув на них, говорит:

— Урок кончился, дети! Ты, ты, ты... — Тыча указательным пальцем, он отбирает десяток учеников. — Приоденьтесь почище и возвращайтесь. Пойдем читать молитву над больным. — И чуть приметно улыбается: — Предвидится хорошее угощение.

После довольно короткого на этот раз чтения корана он отпускает всех по домам.

Вернувшись домой, я тут же пристаю к матери:

— Учитель велел принести деньги на уголь, на циновки, сейчас же приготовьте!

— Вай, смерть моя, ты с ума сошел! Ни с того, ни с сего вдруг подавай ему деньги. — Мать, занятая шитьем тюбетсек на террасе, сердится, бранится. — В своем ли ты

уме?! На циновки деньги, на уголь деньги, а там еще на плеть деньги... Куда он будет девать деньги, ваш учитель, сгинуть ему?!

— Вы должны найти! Иначе учитель завтра в школу меня не пустит.

— Что ты там говоришь? — кричит из комнаты бабушка, занятая латаньем одеяла. — Учитель твой, сгинуть ему, скупой, жадный, то и дело — денег, то и дело — денег ему. Я что, сама делаю деньги? Сам, сгинуть ему, богач, коня имеет, барашков имеет, и все ему мало. Пусть твой учитель берет деньги на уголь у людей денежных, обеспеченных! Отец твой, бедняга, лишь изредка еле-еле соберет и пришлет три-четыре рубля...

Я не желаю считаться ни с бабушкиными, ни с материнскими возражениями и уже сердито кричу матери:

— Завтра с утра деньги должны быть, иначе я не пойду в школу!

Подошедший к этому времени Иса, видимо, услышал шум, поднятый мною, говорит, вешая сумку на колышек:

— Чего ты расшумелся? Учитель ведь дал неделю срока, а за это время что-нибудь придумаем.

— А он тут извел нас, требует обе ноги затискать в один сапог.

— Положение наше трудное, руки короткие у нас... — вздохнув, невесело говорит мать. — Потерпи дней пять-десять, а там посмотрим, может, от отца деньги придут.

В это время где-то неподалеку от нас поднимается скандал. Я бегу на улицу. Две старухи по прозвищу Сара Длинная и Сара Короткая насакивали друг на друга, как петухи в разгар боя. Дворы их были через улицу, калитка в калитку. Сейчас они стояли каждая у порога своей калитки и пощипывали друг друга словами.

Старухи были сношенницами, но не дружили и не терпели друг друга. И мужья их жили так же, не как родные братья.

Сражение было в самом разгаре. Меня забавляла их схватка.

— Эти старые цыганки заскучали, видно, опять затеяли войну, — подмигнув, сказал проходивший мимо парень.

Понемногу из дворов выходят любопытствующие женщины, ребяташки.

Сара Длинная — высокая, кричит грубым голосом. Сара Короткая — небольшого роста, невзрачная на вид, беззубая, но ядовитая старуха с морщинистым, похожим на ключ, лицом.

— Хо! — подбоченившись, кричала Сара Короткая. — Знаю ваши, сдохнуть вам, все проделки. Слыхала, как вы ходили на свадьбу, у таких-то были, лытили там, подлизывались. Три дня пропадали без вести! А еще важничаете! Нет чтобы дома сидеть да богу молиться, бесстыжая! Прядку крути, вату чеши — мало ли дома дела? А вы то к ишану, то на свадьбу, то на поминки! Ведьма крикливая, пошли аллах смерти вам!..

— Глупая, каверзная старуха! — подкусывает соперницу Сара Длинная. — О, наставники святые! Смотри, как разоралась, провалиться ей сквозь землю! Да, сдохнуть тебе, я, и правда, была у почтенной ишан-аим, помогала им по дому. Со всех четырех частей Ташкента собрались там жены больших достойных людей, и простые, бедне-неимущие женщины — тоже. Радение было там, слышишь ты, богоотступница, сгинуть тебе! А на обратном пути на одну только минутку поздравить забежала к подруге. — Обращаясь к собравшимся женщинам, она поясняет: — И свадьба-то была там так себе, скучная. А потом вдруг дождь полил, как из ведра, я и сбежала... — И опять поворачивается к сношенице. — И от кого только ты могла слышать, смутьянка, коротышка несчастная?! Боже, пусть сгинут все ябедницы! Да и какое, собственно, тебе дело? Ну, ходила я, веселилась. Если под силу тебе, посади меня на цепь! Вот тебе и весь сказ, хочешь слушать, слушай, а не терпишь, кусай себя за нос от злости!..

— Хмм... — притопнув ногой от досады, хмыкает Сара Короткая. — Блюда-чашки, говоришь, облизывала у ишанши. А почему бы тебе не посидеть дома? Тюбетейки хотя бы шила. Каждый божий день шляешься, шныряешь повсюду! Тебе ли заниматься радениями, неряха, прислуга грязная, сдохнуть тебе!

Сара Длинная орет на весь квартал:

— Самой тебе сдохнуть, вонючка старая!

Женщины, наблюдавшие эту сцену, начинают уговаривать спорящих.

— Как вам не стыдно! Перестаньте, довольно. Хоть слово перемолчите, в соседнем квартале, в Ак-мечети, вас слышно. Перестаньте! — говорит одна из женщин, обращаясь к Саре Длинной.

Но тут очередь перехватывает Сара Короткая, она опять начинает вопить на всю улицу.

— Будет, мама! Опозорили до смерти! — Невестка пытается втащить Сару Короткую во двор.

Но где там сладить невестке! Обе Сары не меньше

часа перебраниваются. Так как подобные схватки повторялись изо дня в день, мужья обеих сношенниц не обращают на них внимания. А один из стариков квартала, проходя мимо, смеется:

— Старух опять блоха за язык укусила!

Бабушка тихонько шепчет матери:

— Недаром гсвоят: две жены-соперницы и на том свете могут войти в одну дверь рая, а две сношенницы — никогда не смогут войти. Понимаешь, Шаходат?

Сара Короткая и Сара Длинная в конце концов смолкают, наругавшись до усталости.

* * *

Изо дня в день я хожу в школу. Изо дня в день зубрю азбуку. Однажды учитель вызывает меня, усаживает перед собой.

— Ну-ка читай! Затвердил свой урок?

— Знаю, как свои пять пальцев, господин!

Я бойко прочитываю азбуку, почти не взглядывая на дощечку. Я так заучил ее, что разбуди меня, я со сна могу пересказать ее без запинки.

— Похвально, сын мой! Превосходно! — говорит учитель и чуть приметно улыбается. — Так, так, с азбукой, значит, покончено. Тогда завтра вместе с «Хафтияком» носи сдобных коржей и целковый деньгами, паренек. Понял?

— Хорошо, господин!

Выйдя из школы, я во всю прыть бегу домой. Нигде не задерживаясь, влетаю во двор, рассказываю матери о своей радости.

— А, хорошо, хорошо, — говорит мать, и радуясь, и вздыхая. — Все расходы, расходы... От отца твоего ни вестей нет, ни денег. А на то, что я добываю на тесьме, не знаешь: кормиться или учителю на подношения употребить...

И правда, до сих пор только Иса да Каромат клянчили сдобные лепешки или деньги, а теперь еще и я прибавился.

— Мама, милая! — спрашиваю я. — Вы обязательно сегодня же должны испечь сдобных коржей. И еще... и еще один рубль денег должны дать.

Не завтра, а через день я отношу учителю завернутые в скатерть коржи и три теньги серебром.

— Похвально! Садись, сын мой, садись. Сдобных коржей принес? О, превосходно! — говорит учитель, пряча деньги в карман.

В это самое время другой ученик входит с узлом завернутых в скатерть сдобных лепешок, с блюдом горячего плова, тибетейкой в подарок учителю и с книжкой «Суфи Аллаяр». Он был любимым сыном и баловнем богача.

Учитель был вне себя от радости. Он велел было одному из учеников отнести корзи, лепешки и плов к себе, но тут появился какой-то его близкий приятель.

— Заходите, заходите! Пожалуйте! — говорит учитель своему другу. — Вас, наверное, теща очень любит, — прошу ко мне плова откусать!

Гость улыбается, благодарит. Оба они поднимаются на балахану.

Повторяется обычная история: учитель скрылся с глаз, и в классе тотчас начинается беспорядок, буйство.

— А ну, выходи ты, ты! Посмотрим, кто сильнее! — приказывает один из наших признанных силачей.

Два статных паренька с только что обозначившимися усиками схватываются и, как петухи, начинают отчаянно трепать друг друга. Борьба разгорается не на шутку. О ужас! Трещит поломанная скамья, табуретка, в кровь расквашены губы, носы!..

На середину выходят все новые и новые смельчаки. Борьба становится все более захватывающей.

Вдруг один толстяк из старших ломающимся басом выкрикивает:

— Стой, стой! Бросайте! Учитель!

Тяжело отдуваясь и шмыгая носами, борцы рассаживаются по местам — у одного лоб разбит, у другого нос в крови.

В классе опять пыль столбом, все возбуждены и встревожены.

— Да у тебя же лицо в крови, злосчастный! — обращается учитель к одному из учеников. Потом вдруг видит сломанную скамью и у него глаза лезут на лоб. — И скамья сломана? Чье это дело? А ну, выходи на середину?

Багровый от гнева, учитель хватает плеть, идет по рядам учеников и, не разбирая, по чем попало хлещет ребят плетью. От боли одни всхлипывают тихонько, другие, стараясь не подать вида, сидят бледные, третьи в страхе закрывают лицо и глаза руками...

Плеть вдруг с треском обрывается.

— Вот, и плеть истрепалась уже! — отшвырнув рукоятку, говорит учитель и тут же сердито выкрикивает: — Завтра же все несите по одной теньге. Новую купим!

— Слушаем, господин! — отвечают ребята, потирая пылающие от боли плечи, лица.

Учитель садится на свое место. Отдышавшись, приказывает:

— Давайте, продолжайте!

И снова начинается галдеж зубрежки.

* * *

Школа кажется адом. Все заучиваемое — пустые слова, только и знаешь твердишь: «Вазава-вазава!» Каждый час, каждую минуту мы с нетерпением ждем слов «Вы свободны!» Выйдя из школы, мы с облегчением вздыхаем и бежим по домам. А перекусив наспех, собираемся на улице.

Зимой даже собачьи бои устраивать завели привычку. Только когда одна из собак убежит с окровавленной мордой, мы затихали на время. Озорные были...

На ногах — у кого старые калоши, у кого рваные кауши, а кто и вовсе босиком. Боремся, валим друг друга, в азарте катаемся по земле. Сходимся на кулачки, деремся до шишек на головах, до крови из расквашенных носов...

Однажды, в поисках сбежавшей собаки, мы заглянули в тесную ветхую клетушку на дворе мечети. В этом помещении обычно хранились носилки, на которых относят мертвых на кладбище. Здесь, спрятавшись от холода, лежал на носилках Усман-пери — тощий, как тень, человек, молчаливый, как джины из сказок. Испугавшись, мы все разом бросились наутек.

— Ой, что это, джин? — спрашивает один из мальчишек.

— Хо, да это же Усман-пери. Отец говорил, что этот бедняга сошел с ума от любви к одной девушке, — говорит Агзам.

— Любовь, она — такая! — говорит болтливый всезнайка Тургун.

— Правда, Усман-пери помешанный, от любви с ума сошел. А теперь постоянно зиму и лето лежит в носилках для мертвых. Дядю Расуля знаете? Так он доводится Усману родным братом. Понимаете? — говорит Ахмад.

Пока мы выслушиваем разные истории об Усман-пери, неожиданно появляется сам Усман. Босой, на голом теле старый, грязный, превратившийся в лохмотья чапан. Ни штанов на нем, ни рубахи. На голове грязная засаленная тюбетейка, на которой уже не различить ни рисунка вышивки, ни цвета.

Мы опять бросаемся врассыпную.

От истощения ли, от холода ли, Усман-пери еле передвигал ноги. Пошатываясь от слабости и растерянно оглядываясь по сторонам, он добрался до калитки моего дяди и прислонился к дувалу. Дрожащей рукой дотянулся до кольца, постучал. Проговорил глухим, еле слышным голосом:

— Не открывайте, подайте хлеба!

А на улице дул резкий, пронизывающий ветер...

* * *

Наступает весна. Начинается пора цветов. В цветах деревья. Под тюбетейками на висках у ребят — тюльпаны. В корзинах вороха фиалок. Всюду цветы!.. Радость весенней поры особенная, ни с чем не сравнимая...

Неожиданно небо заволакивают тучи и проливают ведрами воду. Здорово хлещет!.. А через минуту уже улыбается ласковое солнце. Все кругом блестит, сияет. Вишни, черешни, яблони, персики — все в пышном цветении...

По утрам по улице спешат на базар в поисках работы чернорабочие-поденщики. Они босые, на плечах — огромные кетмени поблескивают свеженаваренными лезвиями.

Весна всюду! Радость весны переполняет души. Когда идешь в школу, ноги еле-еле двигаются, словно к каждой привязано по камню. Зато из школы летим легко, как птицы.

Учение начинается ранним утром. В полдень учитель отпускает нас, малышей. Старшие после полудня возвращаются и упражняются в письме.

Каждый четверг ученики приносят учителю коржи, лепешки, а кто побогаче, деньги — таков обычай.

Я все еще зубрю «Хафтияк». И до чего же скучная это штука — «Хафтияк»! Только и знаешь твердишь: «Вазава-вазава...»

С особенным нетерпением мы ждем окончания занятий в четверг. Глаза как-то сами по себе тянутся к небу, к солнцу.

* * *

Вот в воздухе прогремели раскаты грома. Небо, то самое, чистое, сверкающее, внезапно заволакивает темная туча. Мать не успевает даже снять развешанное на аркане белье, выстиранное до белизны хлопком. Дождь льет как из ведра.

Бабушка сидит на террасе, благоговейно перебирая четки.

— Хвала аллаху! — с просветленным лицом говорит она, не отрывая глаз от неба. — Было сухо и вот ливень пролил. Ячмень, пшеница теперь, считай, уродились, — поясняет она мне.

Я сижу на краю террасы, забавляюсь, подставляя то одну, то другую ногу под шумную струю воды, падающую с водосточного желоба. Рассуждаю про себя, глядя на вспыхивающие с треском молнии. «Не в тучах ли сейчас аллах? Какой он из себя?»

А тучи были темные-темные — вот-вот поволокуются по земле. Часа четыре подряд хлещет ливень. Вода шумно низвергалась с водосточных желобов, выходила из берегов арыков. То там, то здесь огненными мечами вспыхивали молнии...

Наконец ливень стихает. Тучи медленно уплывают к горам. Временами вдалеке еще раздаются раскаты грома, сверкают молнии.

Чудесная пора!

* * *

— Мама, послезавтра мы идем за город с учителем. Навруз! — говорю я, чувствуя радостное биение сердца. — Учитель наказывал приодеться получше.

— Да? Правда? — улыбается мать. — Ну что ж, вымоешься хорошенько и наденешь то, что есть.

Помявшись минуту, я продолжаю, потупясь:

— Мама, учитель велел принести два рубля...

Я несмело поднимаю голову... Радость на лице матери вдруг исчезла: улыбка показалась мне вымученной.

— Учитель твой, чтоб ему, чудной он какой-то... Ладно уж, денег дам, только рубль тебе, а рубль Исабаю. Что поделаю, и два дала бы, да... нужда...

— О чем там речь опять? — спрашивает бабушка.

Мать объясняет. Старуха выходит из себя, проклинает учителя:

— Чтоб он окошел, твой учитель! Каверзник и хитрец, сгинуть ему, выдумывает всякое...

— А я у вас и не прошу, денег мне мама даст! — грубо огрызаюсь я. — Весна, Новый год, погуляем там. Дома могут сидеть такие старухи, как вы!..

— Замолчи! Не смей так! Разве можно грубить старшим? Нехорошо! — сердится на меня мать. Потом обра-

щается к бабушке, говорит мягко, с покорностью: — Праздник ведь. Все ребята поедут, разве он один останется!..¹⁶

Пятница. Одни более нарядные, другие менее, трегьн в обычном, будничном, старом, латаном, но чисто выстиранном, — все мы, приодетые, каждый по своим возможностям, во главе с учителем отправляемся в путь. Пиалы, чайники и все взятое с базара — мясо, сало, рис, лепешки, изюм — везет на арбе один древний старик, приятель учителя.

По пути мы минуем несколько перекрестков с мелочными лавками и чайханами. Чайханы по случаю пятницы переполнены. В лавках — пряники, сушки, парварда... Глаза разбегаются. Кто побогаче, тем — лафа, останавливаются, где захотят, жуют пряники...

Выходим за город и, пешком, усталые, в конце концов добираемся до местечка Камолон. Здесь всюду зелень. Много великанов-деревьев. Вокруг красивой древней мечети — мавзолеи святых.

Учитель наш, чтоб ему, и тут вздумал читать коран. Наши кары читают нараспев, покачиваясь и закрыв глаза. Чтение корана в мечети продолжается довольно долго. Так долго, что в животе уже начинает посасывать от голода.

Когда чтение кончается, учитель говорит нам мягко:

— Ребята! Идите, погуляйте, пока самовар вскипит. Поле просторное, воды много. Резвитесь в свое удовольствие, дети мои.

Мы все шумной толпой выходим из мечети. Одни тотчас затевают игру в чижику, в мяч, другие отправляются на прогулку. А мы, кучка малышей, обходим темные, наводящие страх пещеры отшельников.

В первой пещере в глубоком молчании сидел какой-то человек: длинная беспорядочно разросшаяся борода, горящие огнем глаза, с виду похож на дервиша. Во второй пещере — какой-то полуголый старик в одних грязных штанах. У этого такая же длинная борода, но глаза закрыты, а рядом — грязная глиняная чашка. Сидел он молча, не издавая ни звука, погруженный в созерцание, словно забыл о существовании мира. Мы стоим притихшие, затаив дыхание. Но старик, видно, все-таки услышал нас, он хмуρο глянул, и черты лица его вдруг исказились гневом. Мы бросились наутек.

Идем по полю. Воздух чистый, прозрачный. Урюковые ветки усыпаны еще не зрелыми, но уже приятнокислыми

860
плодами, черешня еще совсем зеленая. Бродим мы долго, но в конце концов, проголодавшись, торопимся к учителю, Самовар уже бурно кипит. Учитель и старик-арбакеш расаживают нас и раздают всем по одной лепешке и по горсти червивого сорного изюма.

После чая учитель подзывает группу старших учеников и подает им знак. Ребята вдруг хором, чистыми звонкими голосами начинают читать на память стихи Навои, Хафиза. Прочитав одну за другой несколько газелей, они переходят к Физули:

Чтобы сразить соловья, роза бутон свой в стрелу превратила,
Венчик цветка соловей себе сделал щитом.

Но чтобы дело закончилось сладостным миром,

Он обручился с бутоном, в листе затаившись потом.

И чтоб стрела лепестками зарделася розы,

Он песнею стал, разливая то радость, то слезы.

Газель звучит захватывающе. Особенно приятны и мелодичны голоса трех-четырех мальчиков. Все мы слушаем, притихли. Я был растроган до умиления. Я очень любил стихи Физули. Сам знал несколько прекрасных стихов о розе и возлюбленном. Сестренка научила. Вместе с другими малышами я тоже понемногу начинаю подпевать старшим. Музыки у нас нет, ни бубна, ни дутара, ни танбура нет, но зато есть стихи, есть мелодия! Одними лишь чистыми молодыми голосами, напевом, мы даем стихам дыхание жизни, музыку, трогающую сердце! Учитель наш не признавал музыкальных инструментов. Наставлял нас: «Грех! Все это великий грех. Никогда, никогда не берите в руки инструментов!»

— Хватит, довольно! Молодцы! — говорит учитель и с насмешливой улыбкой обращается к старику: — Время уже, старина! Вы, я вижу, совсем растаяли. Разжигайте очаг для плова!

Старик сидит с закрытыми глазами, низко опустив голову.

— Бой-бой-бой. Какой замечательный поэт Физули! — говорит он, растирая колени.

Мы снова идем в поле. Разбившись на кучки, долго бродим. Весна. Много всяких цветов. Я набираю их целую охапку.

Когда мы, усталые, возвращаемся к мечети, плов уже готов. Хоть мяса, сала маловато в нем, но все же это плов. Мы с аппетитом поедаем разложенные по блюдам порции. Но не наедаемся. Очень уж проголодались.

Солнце уже клонилось к закату, а учитель снова вздумал читать коран.

— Опять! — шепчутся ребята.

После молитвы мы все дружно поднимаемся и отправляемся в обратный путь.

* * *

Июнь. Жара. Огнем пышет воздух.

Много скороспелых дынь, огурцов. Время массового созревания ранней сливы, черешни, вишни. Но где взять денег?.. Хорошо, что во дворе у нас есть единственное урюковое дерево. Оно огромное, в его тени укрывается почти весь двор. Ветви урюка унизаны плодами. Сестренка Каромат, Иса и я лакомимся ими, чуть только они начинают поблескивать от прилива соков. Есть у нас еще одна яблоня, но яблоки на ней прямо-таки ядовитой кислоты.

Сегодня бабушка с утра собирается из дому. Решила сходить к моей тетке. Я тоже надумал идти вместе с нею, поэтому в школу не спешу. Большинство ребят перекочевали в загородные усадьбы, учеников в школе осталось мало.

— Тебе в школу пора! — напоминает мать.

Но за меня неожиданно заступается бабушка.

— Пусть ходит со мной, Шаходат-бану, развлечется немного бедный мальчик, — говорит она, накидывая паранджу. — Все — кто в горах, кто в загородных садах, а он извелся тут, бедняжка...

«Сегодня бабушка очень добрая!» — отмечаю я про себя и бегу впереди, радуюсь неожиданной прогулке.

Бабушка поминутно задерживается, с каждой встречной женщиной здоровается, расспрашивает до мелочей: «Откуда вы? С базара? Какая цена на тубетейки? Хорошо ли продали?» Если попадется на пути дом получше, она обязательно остановится. Полюбовавшись, скажет, обращаясь ко мне: «А довольно-таки красивый и добротный!»

Немного времени спустя мы выходим к большому каналу. Идем живописным берегом. У воды — мельницы, крупорушки. По каналу плавают стаи уток. Я останавливаюсь, опускаюсь на корточки у самой воды, пугаю их. Птицы, хлопая по воде крыльями, убегают на середину канала. Утки красивые. Особенно нравятся мне селезни. Разыграется, нырнет и окатит себя водой до самого хвоста с яркими завитками, блестящими на солнце. Я видел, такие перышки носят молодые женщины, заложив за ухо...

— Вай, ну и проказник же ты! Осторожнее, свалишься поскользнувшись! — испуганно кричит бабушка.

Мы идем вдоль берега, то и дело останавливаемся: бабушке, как и мне, любопытно понаблюдать, как работают мельницы и крупорушки. Когда доходим до мостка, перекинутого через канал, я пропускаю бабушку вперед, а сам с разбега одним махом добираюсь до половинны бревна и останавливаюсь как раз на середине канала, на пути плывущих по течению уток. Сажусь верхом на бревно, пускаю в дело руки, ноги, кричу: «Кыш-кыш-кыш!» Бабушка бледнеет, сердится:

— Он же чуть держится, шаткий, как волосяной мост через ад. Как ты не боишься, сорванец? Сейчас же переходи сюда! Второй раз ни за что не возьму тебя в гости...

Мосток, и правда, шаткий, ненадежный. Одно гнилое бревно! Люди по необходимости пользуются им иногда. А ребята из озорства перебегают по нему ради забавы. Я прислушиваюсь к хлюпанью воды под бревном, и в сердце мое забирается страх. Тихонько перехожу на другой берег к бабушке.

— Глупый! Никак, ну, никак не наберешься ума. Пусть только отец приедет, обязательно нажалуюсь ему! — журит меня бабушка, качая головой. — Вот увидит хозяин уток и отхлещет тебя лозинной.

— Да я хотел хоть одно перышко с завитком вырвать для сестренки Каромат...

— Хм... — с досадой хмыкает бабушка и спешит дальше. — Идем быстрее, время позднее уже! — хмурится она.

У каждой мельницы стоят табуны ишаков. Люди привозят на них пшеницу, пшено и увозят муку, толокно. По пути я осторожно заглядываю в одну-две мельницы. Внутри шум, стук, грохот. Люди с головы до ног запорошены мукой. Они громко перекликаются, потому что из-за шума плохо слышат друг друга.

Зять наш оказался у своей крупорушки — борода отросла, свисает клочьями, одежда пыльная, грязная. Меня он встречает обычно:

— А, племянник! Заходи, заходи. — А поздоровавшись с бабушкой, как всегда, тут же начинает свои жалобы: — Плохо у меня с головой. Мозги болят день и ночь.

— У вас всегда так! — досадливо отвечает бабушка. — Велите поворожить, пошептать, покажитесь лекарю! — говорит она и, не дожидаясь ответа, проходит во двор.

Бабушку тотчас окружает куча мелюзги. Все грязные, оборванные. Тетка, поминутно кашляя, торопливо подкла-

дывает пучки камыша под большой котел, в котором поджаривалось пшено. Печальная и усталая, она здороваётся с бабушкой и снова возвращается к котлу.

— К тебе когда ни приходи, все ты у котла. Все — пшено, пшено. До смерти доведешь себя с этим пшеном! — с горечью и сочувствием говорит бабушка.

Я тоже подхожу к котлу. Пшено потрескивает, как раскаленные угли. В горсть взять нельзя — горячее. Я принимаюсь совать под котел пучки камыша.

Тетка с бабушкой присаживаются на корточки неподалеку. У них начинается обычный, с жалобами, с горестями, разговор.

В калитку неожиданно вошел зять. Взглянув на котел, над которым уже поднимается легкий дымок, он выкрикнул хриплым от злости голосом, сердито вытаращив глаза на тетку:

— Пшено-то сгорело! — подбежал к очагу и большой шумовкой принялся торопливо выбирать пшено.

Мне уже наскучило сидеть у котла. Я тихонько вышел со двора и побежал в крупорушку.

Крупорушка зятя была двухпоставной. Один постав был застопорен, а второй с глухим стуком, сотрясая землю, рушил просо. Я ненадолго остановился у порога, прислушался к грозному шуму воды. Осмотрелся кругом. В одном углу стоят лампа со сломанным закопченным стеклом, чайник с отбитым носиком, немытая, вся в скобках, пиала. На полу облезлая наполовину овчинная подстилка, грязный, засаленный чапан — вот и все.

Я тихонько обошел работающий постав. Затем приблизился к застопоренному. Вытащил какой-то клин, совсем лишний, как мне показалось. Постав вдруг заработал, застучал. От испуга я растерялся, не знаю, как остановить. Потом со всех ног бросился во двор. Крикнул, запыхавшись:

— Дядя! Крупорушка пошла! Скорее!

Бабушка с теткой переглянулись растерянно, а зять бросился к калитке.

— Э, дурень! Цеплялся, наверное. Жить, что ли, надоело тебе?

Не отвечая, я бежал следом за ним. Зять без всяких усилий легко остановил порожний постав. Грубо крикнул на меня:

— Убирайся отсюда! — Потом мягче объяснил: — Это сложная штука, малыш. Чтобы около нее ходить, умение нужно, надо знать ее язык,

Вокруг крупорушки, как и вокруг мельниц, множество воробьев, горлинок. Я начал гоняться за птицами. И тут неожиданно на берегу появилась кучка ребятишек. Наскоро раздевшись, они как попало швыряют одежду и один за другим ныряют в воду. С наслаждением плавают, широко взмахивая руками. Потом вылезают на ветки огромных талов и карагачей, растущих по берегу, бросаются в воду вниз головой. Надолго исчезают под водой и внезапно всплывают далеко-далеко. Я завидую им. «Может, и мне искупаться?» — думаю про себя. Но не решаюсь потому, что не умею плавать, а сознаться в этом стесняюсь ребят. Довольствуюсь тем, что бултыхаю в воде ногами, опустившись на траву. Прохаживаюсь вдоль берега. Ветви талов клонятся низко-низко, вот-вот достанут до воды. Всюду свежая зелень травы. Я ложусь, вглядываюсь в небо. Хорошо!..

Вдруг слышу голос дяди:

— Эй, смотри, на беду еще свалишься в желоб! Хватит уже, иди в дом! — говорит он и опять скрывается в крупорушке.

Тетка ставит помятый, закопченный самовар, расстилает скатерть, на старом подносе приносит куски черствых лепешек. Во дворе у них стоит старое тутовое дерево, толстое, с раскинувшимися корявыми ветвями.

— В этом году наш тут родил прямо-таки сверх всякой меры. Ждали вас, ждали, вы не приходите... Патоки наварили немного. Пойду взгляну, может, осталось. — Бедняга тетка бежит в дом и приносит полпиалы патоки.

— Очень вкусная патока! — говорю я, макая кусок лепешки.

Низенькая темная мазанка, готовая развалиться терраса. Рядом маленькая тесная каморка для угля. Попив чаю с патокой, я, когда убрали скатерть, влезая на крышу. Вокруг много таких же мазанок, они вплотную прижимаются друг к другу. Я бегаю по крышам. Некоторое время спустя, вижу толпу народа, впереди несут похоронные носилки. От других ребят, игравших тут же на крышах, узнаю, что хоронят столетнюю старуху. В толпе много стариков, молодых парней, подростков. Одних ребятишек не менее четырех-пяти десятков — все в халатах, подпоясанные платками, идут следом, плачут, причитают: «Бабушка!»

Перескакивая с крыши на крышу, я возвращаюсь на теткин мазанку, наклонившись над стрехой, кричу:

— Бабушка, бабушка! Столетняя старуха умерла! Вон, несут... Народу много-много!..

— А? Что он говорит? Кто там умер? — спрашивает бабушка.

Тетка, копошившаяся у очага на дворе, поднимает голову:

— Бедная. Очень почтенная старуха, сто третий год пошел ей. Иногда она приходила ко мне посидеть, побеседовать. Еще крепкая была, бодрая. Внуков, правнуков у нее — уйма!

— Вай, бедняга! Да снизойдет на нее милость господня! Дай бог нам всем дожить до ее лет! — говорит бабушка, проводя руками по лицу.

За день, рыская по крышам, я здорово набегался. Вечером, поев машевой каши с рисом, мы с бабушкой отправляемся домой.

* * *

С ободком для тканья и тесьмой в руках в калитку к нам входит наша соседка тетя Рохат. Она поднимается на террасу, подсаживается к матери и принимается за работу.

— Подружка, извелась я одна. Пришла, думаю, поработаем вместе, побеседуем по душам.

Мать рада приходу гостьи.

— Вай, очень хорошо надумали! — говорит она, продолжая делать стежки шелком. — Я и сама тут скучаю. Никого нет, свекрови тоже, видно, наскучило, не знаю, ушла куда-то. К старой Урин, наверное.

Тетя Рохат проворно и ловко ткет шилом тесьму, в этом деле она большая мастерица. Как всегда, она начинает с жалоб на мужа. Муж — ее забава и горе. Орудую шилом, она рассказывает и то плачет, то смеется.

— Потерпи, — увещевает ее мать, продолжая вышивку на тесьме. — Подрастут у вас дети и тогда, возможно, и вам улыбнется счастье, и вы увидите свет. Будет на то божья воля, счастье в одно мгновение ока может явиться. Вот и вы избавитесь от бедности, от горя-печали... Все дело в счастливой доле!

— Э, оставьте! Какое там счастье! Мы всю жизнь нищие. От дедов-прадедов нищие мы, — вздыхает тетя Рохат.

Так в душевном разговоре две соседки, две подруги, проводят время — одна ткет тесьму, другая украшает тесьму вышивкой. То о прошлом вспомнят они, то заговорят

о том, что случилось у родни-соседей, у жителей квартала. Беседа их течет, не прерываясь.

С улицы входит сестренка Каромат. Она уже вытянулась, считается взрослой девушкой.

Тут же вслед входит и еще одна соседка — старуха. Словоохотливая такая старуха, много знающая и поговорить мастерица.

— Шаходат-ой, истомилась я одна, забежала вот к вам на минутку. Дни-то все жарче становятся.

Старуха улыбается:

— О чем речь у вас? Вы так дружно сидите! Каром-ой, почитай чуточку из Машраба, удачи тебе в жизни, пусть бог пошлет тебе хорошего жениха!

Каромат краснеет, отворачивается.

— А ну вас! Я хочу заняться шитьем, — говорит она, доставая из ниши сумку с рукодельем.

Старуха продолжает приставать, упрасивать все настойчивее. К ней присоединяется тетя Рохат:

— Бе, чего ломаешься, грамотейка? Я читать не умею, а то стала бы приставать к тебе?

— И верно, почитай, Каром, — говорит мать и тихонько смеется. — У него непристойностей много, так ты их пропускай. Читай с выбором места мудрые, с глубоким смыслом.

Сестренка моя Каромат, стройная симпатичная девушка лет тринадцати, очень миловидная. Газели она читала очень выразительно. Она нехотя встает, берет из ниши книгу, усаживается на прежнее место и с неожиданным увлечением начинает читать:

Ради тебя Машраб отказался от мира,

И на чужбине скиталась его одинокая лира.

Эй, кравчий, подай мне тяжелую чашу вина —

Пить одиночество буду до самого дна.

— Хай-хай-хай, удачи тебе в жизни, девушка-грамотейка! Растаяла я совсем. Газели Машраба так трогают душу... Удивительный был человек Машраб, истинный подвижник! — прослезившись, говорит старуха.

Читая прозаические вставки, Каромат порой, замявшись, чуть приметно улыбается, опустив непристойное выражение, читает дальше.

— Что это такое? Читай подряд, чертенюк, мы тоже хотим послушать, — говорит тетя Рохат.

Сестренка краснеет.

— Нет, не стану я читать Машраба. Лучше Физули.*

— Газели Машраба исполнены мудрости, — говорит старуха, качая головой. — Он — великий подвижник, влюбленный в бога. Ради аллаха он отрекся от удовольствий и наслаждений этого мира. — Она легонько похлопывает Каром по спине. — У тебя такой милый голосок, жертвой мне стать за тебя, читай же!

Сестренка читает:

Я тоскую по тебе, а ты — не замечаешь горя,

Я так страдаю по тебе, а ты — холодная, как море.

Готов по слову твоему пожертвовать собою.

О, свет очей моих, о, жизнь, изранен я любовью.

— Ох-ох-ох! За такого поэта в жертву себя отдать не жалко! — говорит тетя Рохат, вытирая слезы.

— У Физули, говорят, сердце испепелилось от любви. Его любовные газели трогают душу, с ума сводят человека! — говорит старуха, приподнимая веки.

— Физули будто бы сильно был влюблен в дочь своей учительницы, но не смог соединиться с ней, и вся его жизнь прошла в тоске разлуки. От этого-то в его газелях столько огня, печали и муки... Я так слышала, — говорит мать.

Я сижу на краю террасы, строгаю ножиком таловый прут и молча слушаю сестру. Любил я Физули.

— Мусабай! — неожиданно окликнула меня мать. — Сбегай на Шейхантаур. У меня шелк кончился.

— Хорошо, давайте деньги, — говорю я, вставая.

Мать дала мне образцы шелковых ниток, завязала в платочек рубль. Предупредила:

— Держи крепко, не потеряй, смотри. Слышишь?

На улице верхом на тонкой хворостинке скакал Агзам.

— Брось, тоже нашел игру! — говорю я. — Идем со мной на Шейхантаур.

— Да это я от скуки забавляюсь, — говорит Агзам, отбрасывая хворостинку. — Идем!

Улицей Ак-мечеть мы быстро шагаем на Шейхантаур. По пути задерживаемся ненадолго то у одной, то у другой кучки ребят, засмотревшись на игры, и бежим дальше.

Когда добежали до Шейхантаура, Агзам остановился у арыка и опустил на корточки на берегу.

— Посидим немного.

Подолами рубах мы вытираем пот с лица, жадно пьем, черпая воду пригоршнями. Вокруг медресе много вековых чинар, карагачей. В их прохладной тени кучки парней ведут

оживленную дискуссию, спорят о чем-то. Кругом немало наркоманов — курильщиков анаши, опия.

— Тихо!— вдруг говорит Агзам, притаившись за деревом.— Сейчас мы продедаем одну штуку.

— Какую штуку?

— Попробуем незаметно бросить ком земли в наркоманов. Ох и интересно! Вот посмотришь.

Притаившись за деревом, мы бросаем комки в группу наркоманов. Те вздрагивают, оглядываются, вытягивая тонкие, с волосок, шеи. А какой-то бледный до желтизны, чахоточного вида человек поднимается, пошатываясь, кричит:

— Эй, кто это!— Качаясь из стороны в сторону, он делает два-три шага.— Кто это нарушил мой покой?!

Я тихоно шепчу Агзаму:

— Идет, бежим!— и бросаюсь наутек.

Наркоман все же успевает схватить Агзема. Тот дрожит от страха, хнычет:

— Это не мы!..

— Выродок подлый!— Схватив Агзема за плечи, наркоман резко встряхивает его.— Комьями швырял, а теперь: верблюда видел — нет, кобылу видел — нет? Мерзавец, вот сворочу тебе скулу!

Я возвращаюсь, подхожу прямо к наркоману. Упрашиваю:

— Дяденька, отпустите его! Мы швыряли, правда, только не в вас, а в птиц целили... Вон, смотрите, сколько их на деревьях.

— Эй, отпусти, не обижай мальчишку!— кричит кто-то из сидящих в чайхане.

Народу в чайхане много. Наркоман оглядывается. Желтый весь до белков глаз, он еще раз встряхивает Агзема и скрывается в приземистой темной хибарке на берегу арыка. А мы убегаем.

По сторонам улочки тянутся ряды галантерейных и мануфактурных лавок. Лавчонки все маленькне, жмутся друг к другу впритык. Мы задерживаемся перед каждой лавкой. Глазеем на товары, справляемся о ценах на свирели, мячи, прислушиваемся к спорам между покупателями и лавочниками, наконец, останавливаемся перед малюсенькой лавчонкой.

Я здороваюсь с хозяином:

— Ассалам алейкум!— Протягиваю ему рубль и образцы шелковых ниток.

Галантерейщик — рыжеватый человек с длинной бородой, скромный и обходительный, улыбается:

— Ваалейкум ассалам!— Спрашивает:— Так, значит, цветной шелк понадобился, да? Хорошо, хорошо. Шелков у нас много, сынок.— Поглядывая на деньги, он начинает перебирать образцы.— Так, светло-зеленый — цвета капустного листа, желтый — цвета тыквы... вишневым, фисташковым, бледно-розовым...

А мы с Агзамом засмотрелись на птиц в клетках, стоим притихшие.

— Дядя! — говорю я взволнованно, показывая на одну клетку.— Это что за птица?

— Это, сынок, соловей. Слыхал о такой птице — соловей? Самая редкостная из птиц!

— Слыхал, мама говорила как-то, что они прилетают на заре, когда расцветают розы. И как поет слышал, а видеть не видел,— говорю я и упрашиваю старика:— Дядя, заставьте его спеть!

Старик тихо смеется:

— Сам же ты сказал, сынок, что соловей прилетает, когда расцветают розы. Он же влюбленный в розу...

— Дядя, а что он ест — соловей?

— Червей ест, сынок, понял?— улыбается старик и продолжает:— Держать соловья трудно, очень он привередливый. Но зато если запоет, за сердце хватает...

Агзам дотронулся рукой до второй клетки:

— Я видел такую птицу.

Это был скворец, черный, с желтым клювом.

— И я тоже видел!— подхватываю я.— И как поет слышал. Дядя, когда же поют ваши птицы?

— Поют, малыш, когда желание явится. Возьмет вдруг и запоет.

Старик протягивает мне сверток с мотками разноцветного шелка. Я бережно прячу его за пазуху и оглядываюсь на Агзама.

— Постой, не спеши, посидим немного. А вдруг запоет какая-нибудь.

— Что ты! Разве станут они петь на базаре при таком шуме? Идем!— шепчет Агзам.

Мы уходим. Вдруг слышим, запел скворец. Я останавливаюсь, как вкопанный:

— Вот, не говорил я! А какой голос, голос какой!

— Ну его, идем на большую улицу, на конку посмотрим,— говорит Агзам и тащит меня за руку.

Мы спускаемся вниз на большую улицу. Мимо проезжает конка.

ГВ.— Эх, опоздали!— горюет Агзам.— А то просхались бы, прицепившись сзади.

— Да, неудачно вышло!— соглашаюсь я.

И мы мелкой рысцой бежим домой.

Глаза третья

В СТЕПИ

Раннее утро. Приятной свежестью веет ласковый ветерок. В воздухе стоит переливчатый звон птичьих голосов. Под сводами виноградников в придорожных садах, словно подвешенные напоказ, свисают тысячи тугих кистей. Ягоды скороспелого чилляки уже рдеют первым румянцем.

Мы с Агзамом едем на арбе. С чувством трепетного волнения и восторга мы любуемся нежным шелком голубеющего неба, непередаваемой красотой медленно проплывающих мимо садов, полных волшебной музыки, звонких трелей.

Вчера, когда я пришел из школы, мать развешивала на веревке только что выстиранные мои ситцевую рубаху и бязевые штаны. Она встретила меня улыбкой.

— Завтра едешь!— сказала она.

— Куда?— востепенулся я.

— В Янги-базар поедешь. Только что был один человек. Неожиданно появился. Вдруг, слышу, кто-то стучит в ворота. Выхожу, а это, оказывается, от отца. «Пусть, говорит, Мусабай будет наготове, завтра на рассвете заберу его с собой». И Агзам едет, тоже отец вызывает. Я уже сказала его матери.

Я не помнил себя от радости. Перед глазами у меня сразу возникли степь, горы. Казалось, я уже вижу казахские аулы, могучих верблюдов, быстрых коней.

И вот, чудесным ранним утром мы с Агзамом едем, несказанно радостные и довольные.

Арба тяжело нагружена. Мешки и ящики с сахаром, с чаем, с ламповыми стеклами, нитками, иглками и тому подобным товаром. Арбакеш наш — немногословный человек, тихий и ласковый. Прикрикнет на лошадь: «Чу!», хлестнет разок плетью и — скуки ради, наверное, — тихонько замурлычет про себя какую-то песню.

Подъехали к чайхане, которая прилепилась к берегу канала Зах, бушующего здесь в глубоком яру. Арбакеш натягивает повод, говорит, сходя с лошади:

— Слезайте, мальцы, слезайте!

Мы с Агзамом разом спрыгиваем с арбы.

— Это место называется Гышт-купрюк,— объясняет нам арбакеш.— Здесь мы ненадолго выпряжем коня — пусть отдохнет животное, поест клеверу.

Возле чайханы много арб, лошадей, ишаков. В чайхане полно народу. Шум, гомон. Кипят два огромных в грязных потеках самовара, нечищенных, наверное, с прошлой осени.

Чайханщик — тощий человек лет пятидесяти — и на минуту не присядет. «Самоварщик, клеверу!», «Самоварщик, быстро — чайник чаю!» — слышится со всех сторон. А он бедняга, бегаёт из одного конца чайханы в другой: «Сейчас, сейчас!» Перед нами он со стуком ставит ржавый, допотопного вида поднос с двумя черствыми лепешками, чайник с надставленным жестью носиком и две чиненных скобками пиалы.

Мы с Агзамом достаём из сумки мягкие лепешки, которыми снабдили нас на дорогу наши матери, и с наслаждением пьём чай, — для нас это ещё одно удовольствие.

— Ух, упарился! — говорит Агзам, обмахиваясь подолом рубахи.

— Припекает солнышко, — степенно, по-взрослому говорю я, взглянув на небо.

Усталый арбакеш, молчком выпив две пиалы чая с куском лепешки, закладывает за губу щепоть насвая.

Лошадь клевер съела, и мы запрягаем её, отправляемся дальше.

Начинается степь. Изредка виднеются усадьбы русских поселений.

Солнце в самой середине неба. Душно.

— Ну как, жарко? — спрашивает арбакеш, заметив, что мы начинаем проявлять нетерпение. — Держитесь, мальцы! Эти места не зря называют пустынной степью. Видите, трава посохла, — и он широко разводит рукой.

— А мне нравится, я совсем не замечаю жары, — уверяю я арбакеша. — Смотри, смотри, Агзам, горы! Высокие, высокие!.. Люблю горы! Красивые они... — Я запинаясь от захлестнувших душу радости и восторга.

Порой в чистом, сияющем от солнца небе появится коршун. Прочертит один-два круга и исчезнет неизвестно где. Иногда почти над самыми нашими головами пронесётся стайка каких-то птичек, и в воздухе чудесной музыкой прозвучит хор звонких мелодичных голосов.

А я говорю и говорю не умолкая. То обращаюсь к Агзаму, то к арбакешу. Наконец, спрашиваю:

— Когда же мы приедем в Янги-базар?

— Дорога дальняя, два дня ехать нам, сынок,— говорит арбакеш. Он снимает войлочный колпак, вытирает пот со лба. От усталости, что ли, он обмяк в седле, сидит, изогнувшись набок.— Дорога вся такая вот, тяжелая. Да и сам Янги-базар никчемное место. Дивлюсь я, зачем только ваши отцы вызывают вас? Чудно! Кругом степь, пустыня.

В разговор вступает Агзам:

— Напрасно вы так, дядя. Я же знаю, Янги-базар — хорошее, людное место. Я много раз бывал там, видел.

— Э, какое там! Ну степь и степь. Прошел базар, и все затихло, никого не осталось. А базар — в неделю раз. Впрочем, ладно, свет мой, подождем, пусть вот и Мусабай посмотрит.

Однако я в душе одобряю Янги-базар, особенно казахов. Говорю арбакешу:

— Нет-нет-нет! Янги-базар очень хорошее место, я не раз слышал. Там много гор, долин, кумыса сколько хочешь...

— Правильно!— подтверждает Агзам.— Райское место! Я три раза бывал в Янги-базаре, отец возил нас с матерью.

— Помню, помню!— подхватываю я.— Ты одно время долго жил в Янги-базаре.

Разговаривая в таком духе, приезжаем в Дарвишак. На этот раз мы с Агзамом прыгиваем, не дожидаясь, когда остановится арба. Конь, бедняга, весь мокрый от пота. Я чувствую жалость к нему, поглаживаю морду, треплю шею. Арбакеш спешит выпрячь его из арбы.

Жара стоит нестерпимая. Воздух горит огнем. Кругом голая, выжженная солнцем степь. Только маленькая приземистая мазанка — чайхана, да одно-единственное сухое дерево торчит рядом — и все!

Нас встречает невзрачного вида чайханщик, тощий и вялый. Чайхана еще беднее, чем в Гышт-купрюке. Старая пыльная кошма, выщербленные, испещренные скобками пиалы, чайники.

— А ну, подавай нам чаю, здорово пить хочется!— говорит арбакеш, устало опускаясь на кошму.

Мы и правда истомились от жажды. Тотчас бежим с Агзамом к колодцу. Старым помятым ведром достаем воду, поочередно пьем большими жадными глотками. Очень много пьем, хотя вода здесь солоноватая.

Арбакеш сердится, кричит на чайханщика:

— Пить же хочется, подавай чаю, говорят тебе!

— Сейчас, сейчас. Пусть покипит чуточку, — говорит чайханщик, лениво передвигаясь по чайхане.

На маленьком облысевшем подносе он подает нам две лепешки.

Осанистый, могучего склада старик-казах с белой благообразной бородой, со скучающим видом сидевший в чайхане, неожиданно ударил по струнам домбры. Я встрепенулся, весь превратился в слух — домбру я слышал впервые.

Под аккомпанемент домбры старик, точно жалуясь на невзгоды жизни, неожиданно чистым и звонким голосом затянул песню, протяжную и печальную. Мы все трое молча слушаем игру и песню. Хорошо, с грустью пел старик!

К концу дня, как только спадает жара, мы трогаемся в путь. Вечером у степи есть своя особая прелесть. Приятный живительный ветерок веет. Незаметно одна за другой загораются звезды. Небо — точно огромный купол невиданной красоты!..

Арбакеш тоже повеселел. Не умолкая, напевает что-то тихонько. А где-то далеко-далеко мерцают огни казахских аулов.

— Казахи, они вот так поздно ужинают,— объясняет мне Агзам.

Арбакеш, покачивая головой в такт шагу лошади, поет:

Не розы, а карагачи видал я в жизни, веры!
Открой же путнику, открой, возлюбленная, дверь.

Я двери настезь распахнул, а там сидит луна!
Бровями острию пера подобная она.

• Коса до пола, тонок стан. Лозиночка моя.
Я за других гроша не дам, любя одну тебя!

Подхлестнув плеткой коня, арбакеш прикрикнул: «Чу!»— и умолк.

— Спойте, дяденька! Спойте еще какую-нибудь песню,— прошу я.— Я очень люблю песни. Погромче спойте.

Арбакеш выпрямляется в седле. Переменив положение, некоторое время едет молча, потом смеется:

— В дальней дороге песня — хороший друг. Вот послушайте,— говорит он и запекает снова:

Я еду с гор, а за спиной колчан да стрелы, милая,
А ты откуда, девушка, веселая, красивая?!

Твоих глазенок озсрство — моей души отрада.
Коней отдал бы за тебя! Да нет их — вот досада!

— Ну как, проголодались, друзья?— внезапно прервав песню, спрашивает арбакеш.

— Проголодались, дядя, но мы потерпим,— разом отвечаем мы с Агзамом.

— Добро,— говорит арбакеш.— Примечаю я, станция близко уже. Хорошего, с острой приправой, плова надо бы отведать нам, да денег нет, племяши,— со смехом продолжает он.— Ладно, попытаемся взять в долг. Добрый, жертвой стать за него, арбакешский плов соорудим. Я мастер по части плова. А вот дома, у детишек, жидкий рисовый суп, ностная лапша, похлебка с машем и рисовой сечкой да надоедная, будь она неладна, болтушка из муки. Беднячки мы, конечно. И не худо бы каждый день лакомиться пловом, да откуда денег возьмешь...

Едем мы долго. Небо усыпали звезды. Арбакеш, чтоб подбодрить, обманывает нас: «Вот-вот, уже подъезжаем!», «Вот уже приехали!». Ночь прохладная. Мы поеживаемся от холода. Спать хочется, но на арбе мешки, ящики — где тут уснешь?

До остановки мы добираемся уже в полночь. Все кругом спит, только собаки лают, не умолкая.

В чайхане чуть мерцает огонек. Рядом с самоваром чайханщик сидит, клюет носом. Мы с Агзамом в полутьме опускаемся на солому. Задав корма коню, в чайхану входит арбакеш.

— Эй, друг, довольно спать!— кричит он.— Мы проголодались до смерти. Добывай мяса, сала, моркови, луку, я сам в минуту приготовлю плов. Не будем мучить вот этих цыплят, шевелись же, ну!

— Плов? Какой плов?!— все еще не открывая глаз, спросонья говорит чайханщик. Потом с трудом приподнимает веки.— Э, брат! Моркови нет, рису нет, есть немного мяса, да и оно чуть с душиком. Ложитесь, настанет утро—плов не убежит от вас.

Арбакеш хмурится, но ничего не отвечает. Устало опускается рядом с нами на солому. Мы так настроились было на плов... Сидим, притихли.

Чайханщик поднимается, минуту недоуменно, будто впервые видит, тарачит на нас глаза. Потом нехотя поворачивается, при тусклом свете чирака долго возится в темном углу. Наконец, приносит на грязном подносе полторы черствых лепешки с чайником перестоявшегося теплого чая и опять погружается в дрему.

Арбакеш берет лепешки, ворчит: «Они ж черствые!» Напрягаясь, разламывает их. Ничего не поделаешь, мы

наскоро съедаем по куску лепешки и тут же на соломе укладываемся спать.

Два дня поглотав пыль в дороге, мы к вечеру добираемся, наконец, до Янги-базара. Останавливаемся то ли на площади, то ли на улице, широкой и пыльной, с одной стороны переходящей в степь, а с другой ограниченной рядом лавок — обыкновенных каркасных клетушек со стенами из глиняных колобков.

Неожиданно—я даже не заметил, откуда он появился,— к нам подбегает отец. Сняв меня с арбы, он целует меня в одну, потом в другую щеку, а я крепко обнимаю его за шею.

Агзам убегает домой, к своему отцу.

— Пойдем и мы, сын,— говорит отец.— Ты ведь знаешь Хасана?

— Знаю, он как-то раз заходил к нам.

— Вот мы к нему и пойдем. Он хороший человек.

Мы долго шагаем темными виляющими улочками. Но вот отец толкает низенькую калитку, и мы входим в большой просторный двор.

На террасе, мерцаая, горел чирак. Хасана дома не оказалось, нас встретил незнакомый мне человек, высокий и тонкий, как жердь.

— Добро пожаловать, гости!— улыбаясь, ответил он на мое приветствие.

Быстро разостлав на середине двора кошму, а поверх кошмы лоскутное одеяло, он усадил нас с отцом и сказал:

— Для парнишки я сейчас принесу чашку горячей шурпы, он проделал немалый путь. Муки дороги — муки могилы,— и скрылся куда-то.

Небо над головой бескрайнее, звездное. Тишина. Слышен только стрекот кузнечиков да хруст клевера, поедаемого лошадьми где-то в глубине двора.

Возвратился хозяин. Он поставил передо мной чашку шурпы, положил две лепешки.

— Ну, племянник, кроши лепешки и налегай на шурпу. Больше угощать нечем. Жена, дети — в Ташкенте, а мы скитальцы.

— Завтра будет базар. Ешь шурпу и ложись, я разбужу тебя пораньше, хорошо?— говорит отец, глядя на меня с ласковой улыбкой.

— Базар посмотришь, кумысу попьешь,— говорит хозяин.— А верхом на лошади умеешь ездить, племянник?— спрашивает он, кидая под язык щепоть насвая.

— Немного умеет, а теперь вот в степи станет настоящим наездником,— отвечает за меня отец.

§ — Если конь хороший, ездить не трудно, — говорю я уверенно.

Я торопливо ем шурпу, забираюсь под одеяло и крепко засыпаю.

* * *

На базаре шум, гомон. В воздухе тучи пыли. С равнин и предгорий, из близких и дальних аулов сюда собрались казахи: кто верхом на лошади, кто на верблюде, кто на ишаке, а кто победнее и пешком. Всюду толпы мужчин, редко-редко увидишь женщину. Баи — продавцы баранов, чванливые и важные, объезжают базар верхом.

Я иду по базару. Вдруг из одной ближайшей лавки слышу голос Агзама. Бегу туда, приветствую отца Агзама, здороваюсь с ним за руку. Это полный, могучего склада человек с огромной чалмой на голове, с кустистыми бровями. Скрестив ноги, он важно восседал на толстой ватной подстилке, сложенной в несколько раз. В небольшой лавчонке от пола до потолка — куски ситца.

Я уговариваю Агзама:

— Идем, друг, побродим по базару, посмотрим.

— Да иди, иди, — кивает головой отец Агзама. — Торговать ты не умеешь, иди прогуляйся.

Агзам встает, чем-то недовольный. А выйдя из лавки, говорит понуро:

— Тугой старик! Готов убиться ради копейки.

— Правда? А совсем не похож на такого, — удивляюсь я.

Начав с одного конца базара, мы обходим подряд все лавки — парфюмерщиков, бакалейщиков, мануфактурщиков и прочих.

Кое-кто из лавочников интересуется:

— Не сын ли ты Таша-ака, свет?

Я краснею, стараюсь поскорее улизнуть, ташу Агзама за руку:

— Идем, идем живее!

Мы выходим к овечьему базару. Баранов тут уйма. И пыль здесь самая густая. Торговля идет живо. Богатые скотоводы сидят на корточках, вычерчивая прутиком какие-то узоры на земле. Покупатели — большей частью узбеки — придиричиво осматривают баранов, пробуют тяжесть курдюков, щупают бока. Вот один какой-то там берет руку хозяина: «Бараны неплохие. Давайте, старшой, соглашайтесь на цену, какую я назвал!» — и много раз встряхивает пухлую руку бая. Хозяин баранов равнодушно отвечает: «Ты

меня не уговаривай, баранов смотри. Видишь, все откормленные. Слово наше едино». И снова усаживается на корточки, гордый и неприступный. Обе стороны торгуются упорно, спорят, горячатся.

Пастухи — в большинстве бедняки, одежда на них рваная, сполщенное тряпье. Зато богатые казахи: бан, волостные — одеты хорошо, добротнo. На головах соболевые малахан, а у некоторых сверкающие белизной войлочные колпаки.

Мы долго кружим. Потом заходим в чайхану. Здесь казахи сидят: одни — пьют кумыс, другие — крепкий «фамильный» чай.

— Кумыса много, и он дешевый. Жаль денег нет, — с досадой говорит Агзам.

И тут — надо же было так случиться! — мы увидели нашего приятеля арбакеша. А перед ним — четверть кумыса!

— Давайте, подсаживайтесь, племяши! Давай, давай! — приглашает арбакеш. — Что, или денег нет? — спрашивает он, заметив мою нерешительность.

Я признаюсь, краснея.

— Нет...

— Отец не дал, значит? — смеется он.

Я молча опускаю глаза. Арбакеш протягивает мне полную чашку кумыса. Затем подносит Агзаму. Кумыс крепкий, мы еле-еле допиваем каждый свою чашку.

— Что ж вы так, каналы? Кумыс, он ведь от всех болезней средство! — Арбакеш поворачивается ко мне. — Особенно ты налегай на кумыс, сразу поздоровеешь. Смотри, какой ты заморенный! — говорит он, покачивая головой.

После долгих скитаний по базару, мы, вконец усталые, выходим к мечети. Здесь никого нет, тихо, словно все залито водой. Стены у мечети толстые, мощные, а крыша камышовая. Внутри ничего, кроме двух-трех камышовых циновок. С правой стороны, из небольшой приземистой хибарки над обрывом слышится приглушенный гомон. Мы с Агзамом тихонько заглядываем через низенькую одностворчатую дверку. Напротив сидит дородный, с черной-пречерной бородой человек — учитель, одетый в просторный легкий халат с «духовным» воротником. Десятка полтора учеников галдят так, что вот-вот развалят хибарку. Среди них несколько мальчишек-казахов, остальные узбеки.

Перед моими глазами внезапно возник наш класс, наш учитель. От неожиданности я вздрогнул, даже побледнел, кажется. Видимо, то же испытывал и Агзам. Мы разом отпрянули от двери и бросились наутек.

— Вот не было печали!— с беспокойством говорю я Агзаму.— Что, если наши отцы прикажут нам ходить в школу?

— Мой не скажет, ему до этого дела нет,— беспечно машет рукой Агзам. Потом громко смеется.— А вот у тебя отец строгий, если прикажет, никуда не денешься.

Я не отвечаю, подавленный такой возможностью.

Остановились мы перед кузницей. Кузнецы-подковочники работали, не покладая рук. А казахам неймется, каждый торопит: «А ну, свет мой, кончай, кончай, быстрее!» Для строгих коней у кузни устроен станок из брусьев. Смирные лошади стояли спокойно, подняв ногу, словно говорили: ладно, подковывай. Но горные и степные кони все были дикие. Я сам видел, они даже мостов боятся, прыгают прямо через арык.

Кузнецы мучились. Мы с Агзамом сидели в сторонке на корточках, смотрели: так интересно нам!

Старший кузнец — ладно скроенный человек, с могучим торсом и с густой окладистой бородой. Второй — видно, его сын — смирный парень с густыми бровями, с крупной головой и широкими плечами, в силе, пожалуй, не уступит отцу. Он работал, обливаясь потом, и время от времени с любопытством посматривал в нашу сторону.

— Эй,— закричал кузнец сыну.— Занимайся своим делом, чего глазеешь на этих щеголей?— И неласково спросил нас:— Вы ташкентские?

— Да, из Ташкента приехали,— ответил я и с обидой прибавил:— Почему вы называете нас щеголями, мы такие же бедняки.

Агзам незаметно подтолкнул меня в бок:

— Оставь, друг, не спорь. Ну, сказал человек и сказал.

Так вдвоем мы обходим весь базар и возвращаемся каждый к своему отцу.

Мой отец сидел в маленькой полупустой лавчонке, низенькой и тесной.

— Куда ты ходил?— спросил он.

— Мы гуляли с Агзамом.

— Базар смотрели? И на овечьем базаре побывали?— ласково улынулся отец.

— Побывали. Баранов там много-много!

Я оглядываю лавчонку, потом вдруг поворачиваюсь к отцу:

— У тебя такая маленькая лавка? А где ж товары?— спрашиваю с недоумением.

— Э, чтобы товары иметь, нужны деньги, сын. Товаров на свете много, а вот денег у меня нет. Молод ты еще, не

знаешь невзгод жизни,— говорит отец с ласковой, чуть насмешливой улыбкой. Потом, помолчав, показывает рукой:— Вон, в бутылке кумыс, попей, сын. В воде он холодный, как лед. Только взболтай хорошенько, крепче будет.

Закусив губу, я старательно взбалтываю кумыс. Невольно вспоминаю, какая оживленная торговля идет в других лавках базара, в которых можно найти все — от простого ситца до атласа и бархата, и с огорчением думаю про себя, что мой отец бедный, что дела у него идут плохо.

В это время верхом на маленькой заморенной лошаденке мимо проезжает глашатай: среднего роста старик с белой бородой, на голове небрежно намотана грязная чалма, на плечах старый рваный чапан.

— Э, люди! Эй, люди!

Глашатай объявляет о пропаже коровы. Он едет по базару, повторяя одно и то же. Над ним начинают подсмеиваться. Один из казахов кричит:

— Эй, старый! Довольно уже, устал, наверное. Тебе еще пригодится горло, а нам уши. Слышали уже, проваливай дальше, пустозвон!

— Э, объявится твоя корова, никуда не денется. Бродит, наверное, где-нибудь или привязал кто,— говорит другой.

— А может, уже проскочила через чью-нибудь глотку. Есть такие, что верблюда проглотят целиком, а тут только корова,— смеется третий.

Глашатай не обращает внимания на шутки, голос его постепенно удаляется.

Мне по душе его складная речь. Я торопливо отставляю в сторону полную пиалу кумыса и бегу вслед за ним.

— Эй, люди! Эй, люди! Пестрая корова пропала. Пестрая корова, куца, со сломанным рогом!..— Голос его порой уже хрипит чуть слышно — видно, не зря достается ему хлеб.

Старик едет верхом на смиренной заморенной лошаденке. А я долго иду следом, нырая между лошадьми, стараясь не пропустить ни одного его слова. Потом возвращаюсь к отцу.

К концу дня торговля идет бойчее. Особенно — у наставщиков, еле успевающих отпускать свой товар.

Близится вечер. Казахи толпами начинают разъезжаться — кто в горы, кто в степь.

Отец закрывает лавку.

— Пошли, сын,— говорит он устало.— Сегодня пойдем к Зульфн.

Зульфи — она доводилась племянницей отцу — встречает нас радушно.

— Вай, жертвой мне стать для тебя! Здоров ли ты, благополучен ли?— Она обнимает меня, чмокает в одну, в другую щеку.— В добром ли здоровье бабушка? Как мать, Кароматой?

— Все здоровы, вам салам наказывали передать,— отвечаю я сдержанно.

* * *

Проснулся я, а весь двор уже залит солнцем. Осмотрелся: во дворе ни одного деревца, и арыка нет. Я вышел на улицу и умылся мутной водой из окруженного низкорослыми талами хауза, в котором кишмя кишели лягушки и головастики.

После чая пошел к Агзаму (он жил рядом, по-соседству). Вдвоем мы отправились на базар. На этот раз здесь было тихо. Редко-редко увидишь открытую лавку.

— Что-то отца не видать, уехал, что ли, куда-нибудь?— говорю я Агзаму.

— Все они вместе уехали на рассвете,— снисходительно, как человек осведомленный, говорит Агзам.

— Далеко?— спрашиваю.

— В Шароб-хану отправились. Там собираются для торговли люди из дальних степей. Понял?

Я промолчал.

Мы обходим овечий базар, конский базар. Всюду пустым-пусто, нет ни души. Усталые, мы присели на камень против какой-то закрытой лавки.

— Хорошо, правда, друг?— говорит Агзам, поводя кругом рукой.— Тихое, спокойное место. Вон и горы видны. А воздух какой! Очень нравится мне Янги-базар!

— А может, наши отцы в Чимкент уехали?— говорю я, не слушая Агзама.

— Эх, ну и чудной ты! Сказал же я — в Шароб-хану,— сердито глянул на меня Агзам.

— Если тут раз в неделю бывает базар — это же очень скучное место. А насчет воздуха ты правду сказал, воздух вон какой, как масло вливается в грудь,— говорю я, делая вид, что не замечаю раздражения Агзама.

— Вон те горы называются Козыгурт. Видал, какие высоченные!— говорит Агзам.

— Правда, горы красивые,— говорю я.— Только далеко они все-таки.

Так мы бродили, сидели, разговаривая о том, о сем. А когда это наскучило, разошлись по домам.

Я возвращаюсь к тетке Зульфи, кое-как провожу день, а вечером выхожу на дорогу встретить отца. В пламени заходящего солнца пылают дальние вершины. Я присаживаюсь на камень и долго люблюсь закатом, цветом неба, каждую минуту меняющего свою окраску.

Из сгущающейся темноты доносится стук копыт. А немного спустя, впереди, совсем рядом, возникает фигура всадника, слышится знакомый голос, ласковый и чуть насмешливый:

— Что ты торчишь тут, как одинокий кол?

Я радуюсь возвращению отца и в то же время испытываю некоторую досаду.

— Жалко, время позднее уже, а то бы я покатался верхом.— И с надеждой спрашиваю:— А завтра вы дома?

— Эх, сынок!— говорит отец, слезая с лошади.— Мы ведь совсем не знаем покоя. Завтра я опять поеду скитаться. Ты пока играй тут с товарищами, один не отлучайся далеко от дома. А теперь иди, спи.— И он легонько похлопал меня по спине.

Я молчу. Медленно, нехотя бреду к дому тетки Зульфи. Муж тетки, Закир-ака, высокий, худошавый человек средних лет, только что вернулся откуда-то. Мотнув коротко подстриженной бородой, он приглашает меня к дастархану:

— Ну, садись, малыш, сейчас будем есть машевую кашу с рисом и скобленным мясом.— И улыбается, добродушно поблескивая своими маленькими подслеповатыми глазками:— Знай, брат, что добрая машевая каша не уступит плову!

Я подсаживаюсь к дастархану, чувствуя, что сильно проголодался.

* * *

На базаре все так же тихо. У лавок ни единого покупателя. Кучка молодежи, расположившись на цинковке у лавчонки насвайщика, играет в шашки. Игра идет живо, с шутками-прибаутками — как-никак забава все-таки.

— Подойди-ка сюда, племянник!— зовет меня хозяин соседней бакалейной лавки, темнокожий, с трахомными глазами.— Беги, принеси воды из хауза!— велит он, протягивая мне узкогорлый кувшин.

Я бегу к хаузу и мигом возвращаюсь с полным кувшином. Бакалейщик хвалит меня:

А — Молодец!— И тут же дает новое приказание:— Побрызгай перед лавкой малость, а то пыль одолела.

Я скупно брызгаю водой возле лавки и убегая, отметив про себя: «Как все-таки много здесь пыли!»

Все лавочники скупые до невозможности.

Мы с Агзамом уходим в степь.

Солнце палит здорово. Кажется, все кругом начинает плавиться и переливаться, как ртуть.

— Беркут!— внезапно вскрикиваю я.— Вон на камне сидит!

— А? Где?— Агзам оглядывается по сторонам.

— Да вон же, вон!— показываю я рукой.— Огромная птица, важная такая.

Агзам застывает с раскрытым ртом:

— Вот это — да!

Мы тихонько подходим ближе.

— А что, если камнем попробовать?— волнуясь, предлагаю я.

— Вот бы казахов сюда! Они бедовые, враз поймали бы,— уже оправившись от удивления, деловито рассуждает Агзам.

Мы начинаем бросать в беркута камни.

— Нет, не добросить!— говорю я.— Надо ближе подойти.— И тащу Агзама за рукав.

Пригнувшись по-охотничьи, мы осторожно подбираемся к тому месту, где сидит беркут. Затаив дыхание, швыряем по камню. Мимо!

Беркут нехотя, с достоинством поворачивает в нашу сторону голову, с минуту смотрит на нас, как бы раздумывая, стоит ли тревожиться, потом широко распахивает крылья и улетает. А мы остаемся с раскрытыми ртами и, задрав головы, смотрим ему вслед.

— Жалко!

— Какая досада!

Мы долго бродим, дивясь широте степных просторов, причудливой линии гор, замыкающих полукруг горизонта. Неожиданно выходим в низине к казахскому аулу и попадаем на свадьбу.

Одна юрта полна народу. Вокруг кучками лошади. Женщины здесь не скрываются от мужчин, все вперемешку. Свободно шутят, запросто похлопывают друг друга по плечу. У иных женщин бархатные платья, на кистях рук парные браслеты, в ушах большущие серьги и подвески. Но больше бедных, одетых в грязные, рваные, чиненые-перечиненные платья.

— Откуда они появились, эти мальчишки?— удивляется пожилой казах, когда мы заглядываем в юрту.— Заходите, заходите! Садитесь!— говорит он и усаживает нас на кошму.

А другой, видный такой старик, спрашивает:

— Чьи вы будете?

— Я сын Таша-ака,— отвечаю ему несмело.— А это,— показываю на Агзама,— мой товарищ, сын Таджи-ака.

— Мы бродили тут и невзначай попали на свадьбу,— объясняет Агзам.

— Вай-буй!— разом воскликнули несколько человек.— Таш-ака и Таджи-ака — это же наши тамыры. Мы с ними старые знакомые.

— А ну, налейте джигитам кумысу!— приказывает тот важный старик, а сам высыпает перед нами на дастархан пригоршню баурсаков.

— Вот, пейте, ребята!— говорит усатый мужчина, протягивая мне и Агзаму по глиняной чашке кумыса.

Нам очень хотелось пить, у обоих во рту пересохло от жары. Мы подняли чашки и разом опорожнили их.

— Молодцы!— засмеялся мужчина.— Еще налейте им!

— Хватит, дядя...

Хозяева настаивают, но мы краснеем, отказываемся:

— Спасибо, немного погода выпьем,— и дружно налегаем на баурсаки.

Певец-сказитель с длинной, ниспадающей на грудь белой бородой, приятным голосом запел под аккомпанемент домбры. Песни, юмористические импровизации, сопровождаемые одобрительными выкриками, смехом, не смолкая, следуют одна за другой.

Вскоре в юрту подается вкусная шавля, обильно приправленная мясом. Мы с аппетитом съедаем и шавлю, потом тихонько выбираемся наружу.

— А где же невеста?— шепотом спрашиваю я у Агзама.

— Невесты что-то нет,— говорит Агзам и по-стариковски пожимает плечом:— Чудно!

Вдруг казахи заволновались, забегали, бросились к лошадям, уже нетерпеливо бившим копытами,— начался улак. Это было так интересно, что мы с Агзамом застыли на месте, затаив дыхание.

Народу кругом уйма. А там, где был брошен зарезанный козленок, сгрудилась огромная толпа всадников. Каждый из них, позабыв обо всем на свете, старался пробиться в середину круга, чтобы как-нибудь изловчиться и схватить добычу. Вдруг какой-то уже пожилой рослый и

плотный казах с коротко подстриженной бородой поднял коня на дыбы и метнулся в самую гущу борющихся. Через мгновение он появился уже с улаком под стремением, и умный конь, стрелой вылетевший из бурлящей толпы, помчал его прочь. Опешившие на какой-то миг участники состязания опомнились и, словно грозный вал бурной взбесившейся реки, ринулись вслед за ним. Зрители, толпившиеся возле аула, волновались не меньше, если не больше, самих участников состязания, они то затихали в ожидании результата очередной схватки, то раздражались громкими восторженным криками. А состязание разгоралось все сильнее... То один, то другой участник вырывал улака, пытался ускакать, его скопом преследовали остальные. Не только люди, лошади были охвачены азартом борьбы. Падали кони, валились выбитые из седел всадники, и, когда после очередной свалки участники игры пронеслись дальше, у одного упавшего оказывалась сломанная рука, у другого — нога...

Состязание кончилось, когда солнце уже перевалило за полдень. После этого в одной из юрт собрались девушки и молодые женщины. К ним вскоре вошла группа разодетых джигитов.

Вместе с джигитами входим в юрту и мы, и сразу же видим невесту — симпатичная такая девушка, что конфетка в бахромчатой обертке, круглолицая, щеки, будто два тюльпана, рдеют румянцем, глаза горячие с искоркой, а на голове венец, украшенный пушистыми перьями филина.

По казахскому обычаю девушки и джигиты начали песенное соревнование. Импровизируя, они так тонко и весело высмеивали друг друга и так быстро складывали ответ, что нам с Агзамом приходилось только удивляться их мастерству.

Когда очередь дошла до жениха, добротного одетого рослого джигита с широкой богатырской грудью, он зашел негромко, сильно смущаясь. Невеста звонким чистым голосом ответила ему так красиво и остроумно, что все гости разразились дружным смехом и громкими одобрительными возгласами.

Время проходило весело и бежало незаметно.

— Мусабай, нам пора уходить, а то запоздаем, — тихонько шепчет мне Агзам.

Уходить мне совсем не хотелось, но — что поделаешь — мы незаметно выскользнули из юрты.

— Эх жаль! — говорю я Агзаму, глядя на пылающий горизонт и темнеющее небо. — Как скоро день кончился.

Мы уходим, а там, в юрте, все еще слышатся звонкие голоса девушек, звенящий серебром смех.

Шагаем мы быстро и все-таки входим в кишлак уже затемно.

— Мерзавец!— сердито кричит отец Агзама.— Где ты шлялся весь день?

— Мы вдвоем с Мусабаем ходили...— нерешительно бормочет Агзам.

Я пытаюсь вступить за приятеля:

— Мы на свадьбе были, дядя. Кумыс пили, смотрели улак. Такая интересная свадьба была!..

— Иди домой!— строго приказывает Агзаму отец. Потом грозит, обращаясь ко мне:— Вот подожди, не я буду, если не нажалуюсь на тебя отцу!

Я молчу. Тихонько подхожу к своей калитке и с опаской шмыгаю во двор.

* * *

Солнце палит нещадно. Бакалейщики, насвайщики, чайханщики одурели от жары и от скуки. Время от времени на площади появляется какой-нибудь казах верхом на лошади, на ишаке или пешком, покупает насвай, сахар или чай и опять скрывается в степи.

— Дядя, дайте я покатаюсь на вашем ишаке,— прошу я одного из казахов.

— Ладно, свет мой, садись,— соглашается он.

Обрадованный, я взбираюсь на ишака.

Лавочники смеются, подшучивают надо мной. Кто-то из них незаметно сует под хвост ишаку щепоть насвая или, может, перца. Ишак юлит задом, пускается вскачь. Кусает себе хвост, злится. Не удержавшись, я падаю, взвихрив облако пыли. А лавочники хохочут — рады случаю посмеяться.

Среди лавочников есть один тихий и ласковый старичок-бакалейщик — борода с проседью, лоб высокий, на носу очки, всегда с книгой. Книг у него много. Меня особенно интересовала «Тысяча и одна ночь». Но я умел читать пока только коран.

— Дядя, почитайте немного из «Тысячи и одной ночи», а я послушаю,— пристаю я к бакалейщику.

Старик качает головой.

— Почитал бы я тебе, да ты еще молод, младенец — можно сказать. В этой арабской книге много увлекательных фантазий, но есть стыдные места.

Я продолжаю приставать. Бакалейщик долго листает

тонкие страницы. Наконец находит подходящий рассказ, читает. А я молча слушаю, притихший.

— В рассказе много поучительного, — говорю я. — И описания интересные.

Бакалейщик смеется:

— У арабов много таких вот поучительных рассказов.

Так проходят дни.

В воскресенье, в базарный день, с утра начинают съезжаться казахи, среди них порядочно женщин. Присмотрелся я: у некоторых в руках палки, топоры, серпы.

Вместо того, чтобы идти по лавкам, казахи, разбившись на кучки, начинают оживленно обсуждать что-то. А часов в одиннадцать, наверное, точно не помню, вдруг с криками «Алаш!» затевают драку. Я со страхом смотрю на свалку. Потом срываюсь, бегу к отцу:

— Дада, дада! Казахи дерутся!

Отец спокойно машет рукой:

— А-а. Это один из казахских родов, наверное, требует с другого кун — плату за кровь или за обиду какую-нибудь. Понял? — говорит он и, взглянув в сторону шумной толпы, качает головой: — Да, суматоха эта, пожалуй, затянется до вечера. Значит, торговля, говори, нарушена...

Я хватаю за руку подбежавшего Агзама:

— Смотри, смотри! У них ножи, топоры!

Действительно, появляется новая толпа казахов, вооруженных топорами и ножами. С криками они бросаются в свалку. Шум и гвалт продолжаются долго. Появляются раненые — у одного голова проломлена, у другого выбит глаз.

Потом откуда-то появляются бии, начинают переговоры. Словесная перепалка тоже продолжается довольно долго, но в конце концов стороны приходят к соглашению.

Торговля уже не возобновляется, казахам, видно, не до покупок.

* * *

Суббота. Отец рано закрыл лавку. Вместе со своими знакомыми он собрался поехать в горы Козыгурт. И меня обещал взять с собой. Я, конечно, обрадовался предстоящей прогулке.

Сели мы на лошадь — отец впереди, в седле, я сзади. Стоим, ждем, пока насвайщик насыплет в пузырек насвая. Вдруг — и надо же было такому случиться! — наш конь сцепился с другим. Я не успел ухватиться за отца, упал, и прямо на камень. Подбежал Хасан-ака — знакомый отца. Этот небольшого роста шустрый старичок, с козлиной бород-

кой и острым пронизательным взглядом, любил меня, часто шутил со мной, смешил разными занимательными историями. Он поднял меня на руки и внес в лавку. Следом прибежал и отец.

— Нога у него повреждена малость,— говорит Хасан-ака отцу, а меня успокаивает:— Ничего, сынок. Для джигита — это пустяк, а ты ведь богатырь.

Достав кусок кисеи, старик туго-натуго перевязывает мне ногу, и мы трогаемся в путь. Долго едем по взгорьям, увалам, крутым склонам с каменными осыпями.

Солнце уже склонилось к самому горизонту. Свежий ветерок предгорья, чистый воздух, как масло, заполняют легкие, радуют и веселят. Участники прогулки то обмениваются веселыми шутками, то умолкают, захваченные чудесной картиной, открывающейся взору. Очарованный окружающей меня красотой природы, я еду молча, любясь пунцовым закатом, золотыми бликами на горных вершинах, искрами, брызжущими из-под копыт, когда лошади минуют каменные осыпи, прислушиваюсь к мягкому конскому топоту, когда лошади шагают по траве. На душе у меня светло, только боль в ноге несколько омрачает мое настроение.

У подножия гор от ковра свежей зелени повеяло тонким ароматом цветов и разных пахучих трав. Деревьев здесь почти не было, лишь изредка то там, то здесь встречались небольшие приземистые деревца.

Лошади у всех были добрые. Поднимаясь в гору, они шли гордой поступью, с каким-то особым изяществом несли головы. Глаза умных животных весело поблескивали, они испытывали явное удовольствие от прогулки по таким чудесным местам. А какие красавцы есть среди них! Я люблю от всей души, искренне люблю лошадей!..

Мы то поднимаемся на взгорье, то спускаемся вниз. Время от времени на пути попадаются казахские аулы. Вокруг юрт табуны лошадей, верблюды, стада баранов. Поднимаются к нему клубы дыма от очагов.

Уже в глубокой темноте мы достигаем подножия величавой горы Козыгурт. Здесь расположился небольшой аул. Рядом, из гущи переплетающихся деревьев, выбегает звонкий ручей.

— Какая высокая гора, дада! Завтра поднимемся на нее?

— Обязательно, обязательно поднимемся!— кивает головой отец.

Все слезают с лошадей. Я тоже хотел было соскочить на

землю, но почувствовал боль в ноге и обеими руками уцепился за седло. Отец подхватил меня на руки:

— Что, болит?

Казах, встретивший нас, вынес из юрты большую белую кошму и расстелил ее на траве. Все участники прогулки располагаются на ней — кто садится, скрестив ноги, кто ложится, опершись на локоть.

Отец тревожно и растерянно поглядывает на меня.

— А ну, ступи ногой, попробуй!— говорит он, опуская меня на землю.

Закусив от боли губу, я делаю несколько шагов и валюсь на край кошмы.

Участники нашей дружеской компании достают из хурджумов чай, лепешки, сахар. Наполняют узкогорлый кувшин прозрачно-голубой водой, ставят его к очагу, вырытому в земле. Казахи режут молодого барашка и начинают готовить шурпу. У нас нет никакого освещения, кроме звезд в небе. Но вскоре одному из джигитов удается раздобыть где-то тускло горящую лампу с закопченным, наполовину отбитым стеклом.

Начинаются шутки-прибаутки, остроты и экспромты. Участники компании по очереди прикладываются к полою камышинке, опущенной в яму, в которую высыпана щепоть анashi и брошен уголек. Отец тоже делает короткую за-тяжку.

Становится прохладно. Я набрасываю на плечи отцовский чапан.

Здесь много соловьев. Их звонкие голоса временами звучат так дружно, что кажется поет сам воздух вокруг.

Я с удовольствием прислушиваюсь к соловьиным трелям. Видимо, заметив это, старый Хасан-ака с улыбкой хлопает меня по плечу.

— Слушай, слушай, сынок. На свете нет улады выше, чем пение соловья. Мой покойный отец говорил, что в соловьиных трелях насчитывается девятьсот девяносто девять колен. Так оно и есть, наверное, сынок, соловей — самая редкостная птица. Понял?

Участники компании засниваются долго, затевают серьезную беседу и снова переходят к шуткам и остротам. Рассказывают про всякие удивительные случаи, передают разные давние истории из жизни дедов и прадедов.

Над темным ущельем золотым серпом повисает молодой месяц. Шум ручья, скачущего по камням, гул леса, исполнинские скалы, грозно проступающие из темноты ночи,— все это кажется мне таинственным и загадочным до жути.

Отведав шурпы, я засыпаю тут же на кошме.

Открываю глаза — уже светает. Незаметно, словно по заранее установленной очереди, гаснут одна за другой звезды. Я прозяб. Утро свежее. Чуть пошевелился, а отец уже услышал, шепчет мне:

— Спи, сын, еще рано.— Потом, видно догадавшись, что я продрог, прикрывает меня полой толстого чапана.

Но сон уже не приходит ко мне. Соловьи поют, не умолкая. Воздух чистый-чистый. Отец тоже не спит, вздыхает часто. А немного времени спустя поднимается, идет с кувшином к ручью и разжигает огонь в очаге. Один за другим просыпаются и остальные участники компании.

По горизонту, очерченному причудливой линией горных вершин, разливается алая заря. Вскоре и солнце поднимается, брызжа золотом лучей... Не знаю, вечерняя ли заря красивее или утренняя? Одна красивее другой, одна другой прекраснее. Природа ведь так богата, щедра и так искусна!..

— Как, будем вставать, сын?— мягко спрашивает отец.— Ну вставай, вставай. Вон, взгляни-ка на горы!— и широко поводит рукой.

Я поднимаюсь, но не могу ступить на ногу, она у меня распухла и отяжелела.

Отец и Хасан-ака встревожились:

— Очень болит?— спрашивает отец.

— Болит...

— Тогда лежи, свет мой!— говорит мне Хасан-ака. Потом тихонько шепчет отцу: — Тяжелый ушиб, видно, — и тотчас поспешно уходит куда-то.

Отец приуныл, сидит молчаливый.

Закипел чай. На дастархане появляются огромное блюдо жирной баранины и горячие баурсаки. В это время с яйцом в руке возвращается Хасан-ака. Он осторожно разматывает кисею и старательно массирует яйцом мою ногу. Массирует долго. Мне и самому начинает казаться, будто боль утихает. После этого Хасан-ака еще туже заматывает мне ногу. Похлопывает меня по плечу:

— Теперь полежи. Не пройдет и минуты, как ты жеребенком начнешь взбрыкивать, малыш!

— Да-да! К вечеру уже сможешь на гору подняться, только потерпи, полежи, сын,— ласково говорит мне отец.

Я лежу, всматриваясь в небо. Чувствую, что нога моя пухнет все больше. Отец, часто и с тревогой поглядывавший на меня, видно, заметил, что мне хуже, и совсем расстроился.

Наступил полдень. Наши спутники начали готовиться к подъему на гору. Я говорю отцу:

— Идите. А я буду смотреть лежа.

Отец берет палку и вместе с другими участниками прогулки начинает взбираться на гору. Хасан-ака остается со мной. С одним из казахов, высоким молчаливым джигитом, они собираются готовить жаркое.

Я говорю старику:

— Не помогло ваше яйцо. Нога все хуже пухнет.

— Лежи смирно, скоро поправишься. Яйцо для тебя — самое верное средство! — улыбается Хасан-ака, продолжая крошить лук для жаркого.

Я лежу, смотрю на горы. Удивляюсь скалам, пропастям. Какие же это громады — горы! Я жалею, что не смог пойти вместе с другими. Досаую. Расспрашиваю Хасан-ака о горных оленях, кийках, о медведях.

— Э, сынок, здесь все есть. И волки есть, а может, и львы, — говорит Хасан-ака и многозначительно щурит глаз.

Отец и его спутники после долгой прогулки возвращаются усталые. Отец принес мне букет душистых горных цветов... Я рад подарку, горные цветы мне очень нравятся.

С аппетитом поев жаркого, мы к вечеру трогаемся в обратный путь.

* * *

Я лежу на террасе один. Передо мной просторный, как степь, двор. И ни одного деревца! Прошло, наверное, уже около десяти дней, как я упал с лошади, а я все еще не могу ступить ногой. Еле-еле, сильно хромая, сделаю шаг-другой — и все; лежу с утра до вечера, уставившись в потолок.

Под крышей террасы много воробьиных гнезд. Я наблюдаю, как подлетают старые воробьи, как птенцы, запищав разом, вытягивают шейки, разевают желтые клювы. А когда это надоедает, развлекаюсь, глядя на петуха с курицей, которых полно во дворе. Петух красивый, важный. Найдет зерно или кузнечика и сейчас же зовет всех. Куры с кудахтаньем окружают его, ссорятся из-за добычи. А если какая-нибудь курица вскочит на крышу или же вздумает забраться к соседям, петух сердито кокочет, гонит ее обратно.

Я отдаюсь раздумью. Мысли мои цепляются одна за другую. Воображение мое разыгрывается, дальние горы представляются мне совсем близкими. Среди гор видятся

сады, аллеи, дворцы. Внезапно, как наяву, встают передо мной джины, перн. Мысли мои путаются, усложняются. А я лежу, то забываясь в легкой дреме, то снова возвращаясь к яви.

Солнце палит нещадно, пышет жаром степь.

Тетка Зульфи подходит ко мне изредка. Спросит: «Вай, смерть моя! Все еще не прошла опухоль на ноге?»— и опять спешит по хозяйству: сбивает масло, заквашивает молоко. Часто забегает Агзам. Рассказывает, как скучает один, как дерется с ребятами.

— Выздоровливай скорее, вдвоем мы им покажем! Все они боязливые, все до одного трусы.

— Нет, друг,— говорю я,— есть среди них и отчаянные. Особенно тот, небольшой парнишка, помнишь? Так что ты остерегайся, в драку не лезь, здорово могут отколотить. И о нашей дружбе не забывай.

Агзам хмурится, молчит. Потом мы болтаем о том, о сем — о жадности сквалыжных баев, о скупости местных лавочников.

Отец каждый день скитается где-то верхом на своем иноходце. На закате или в сумерки заглянет ко мне, весь в пыли, усталый. Спросит:

— Ну как, хорошо ли себя чувствуешь, сын?— Иногда положит передо мной горсть джиды, десяток орехов, посидит немного и уходит.

Однажды посоветовались они с Закиром и решили повезти меня к какому-то казахскому лекару. По холмам, по увалам ехали. Приезжаем мы в казахский аул. Сходим с коней. Нас встречает полная пожилая женщина в чистом белом платье, в безрукавке и кисейном платке. Когда мы входим в юрту, женщина подает мне чашку кумыса:

— Вот, выпей. Это утоляет жажду, светик мой.

В разговор вступает Закир-ака. Справившись, как положено, о здоровье хозяйки, о благополучии ее домашних, он говорит:

— Этот наш парнишка упал с лошади и повредил ногу. Вот мы и приехали к вам.

Старуха внимательно посмотрела на меня. Попросила:

— А ну, покажи, милый! — и сама осторожно развязала ногу и легонько раза два провела по ней рукой.

— Вывихнута,— сказала она, обращаясь к отцу и к Закиру. Потом повернулась ко мне:— Ничего, мигом поправишься, светик мой. Как жеребенок, резвиться будешь.

В душе я струсил немного. А она вдруг сильно нажа-

ла на ногу, там шелкнуло что-то: «Шнк!» Я невольно вскрикнул: «Ой!», но тут же почувствовал, что боль утихает.

— Все, все! Теперь ты совсем здоров, светик мой,— говорит женщина, ласково поглаживая меня по голове. Потом обращается к отцу:— Сколько заставили напрасно страдать бедного парнишку. Видите, как сразу ему полегало.

— Спасибо тебе, старая!— говорит ей отец с поклоном.

Лекарка туго заматывает мне ногу, но я уже не чувствую боли.

Отец расплатился с хозяйкой, еще раз поблагодарил ее, и мы отправились в обратный путь.

А на следующее утро я уже принимаю участие во всех ребячьих играх — играю в чижика, в орехи, в ащички.

Проходит несколько дней. Как-то вечером отец, похлопав меня по плечу, сказал с ласковой улыбкой:

— Ну, сын, довольно. Завтра на рассвете поедешь в Ташкент. Погулял, порезвился, хватит.

Я промолчал. А про себя подумал: «И правда, я здорово провел время!»

— Агзам тоже едет,— прибавил отец.— Мы уже договорились с его отцом. Завтра тут один арбакеш везет в город пшеницу, с ним и поедете.

На следующий день рано утром мы с Агзамом отправляемся в дорогу. Сидим, кое-как приткнувшись на мешках с пшеницей.

Кругом пустынная степь. Широко, от горизонта до горизонта, раскинулась она. Осень. Солнце уже не жжет, как летом, а ласково греет. Дует приятный, свежий ветерок. В чистом голубом небе то там, то здесь медленно плывут легкие облака. Дальше горы подернуты синей дымкой. Мы едем притихшие и немного грустные.

Как и в первый раз, в дороге мы проводим два дня. Арбакеш, кроткий и ласковый человек с реденькой бородкой в несколько елосков, в каждой попутной чайхане кормит нас до отвала. То жирная шурпа, то плов, приготовленный им самим. Довольные, мы с Агзамом смеемся:

— Спасибо, дядя! Когда подрастем, мы сразу рассчитаемся с вами за все.

Арбакеш тоже смеется вместе с нами.

Поздно вечером мы въезжаем в Ташкент. Останавливаемся в доме арбакеша.

— Ребята,— говорит он,— сегодня вы ночуете у нас, время позднее уже.

Жена арбакеша уложила нас на террасе, постелив старенькое одеяло и продолговатую подушку.

Мы просыпаемся на рассвете. Хозяйка, такая же тихая и ласковая, как ее муж, угощает нас молоком и лепешкой. После этого мы прощаемся.

— А дорогу-то знаете вы, сорванцы?— спрашивает у нас арбакеш.— Смотрите, не заблудитесь!

— Дорогу мы знаем, нам близко, дядя.

— Вон, по улице Воров и выйдем прямо к дому,— уверенно говорит Агзам.

Миновав улицу Воров, мы выходим к нашему кварталу. Агзам бежит к себе. Его дом ближе, чем мой.

Босой, запыленный и грязный, я вхожу во двор. Все наши сидят за дастарханом. Мать, как всегда, разливает чай у самовара. Она первой вскакивает мне навстречу. Все обнимают меня, радуются.

Бабушка сразу же пристает ко мне с расспросами:

— Ну, рассказывай! Отец твой жив-здоров? Когда он приедет? Как он живет там?

— Разъезжает по степи. Вам передавал салам, а когда приедет, не сказал, — говорю я и торопливо, со всеми подробностями принимаюсь рассказывать о своих впечатлениях.

Глава четвертая

СНОВА В ГОРОДЕ

— Иди живее! Да под ноги смотри!— поминутно остерегает меня бабушка.

Бабушка в парандже, на голове у нее большой узел. У меня на голове — узел поменьше. Мы идем на завод чесать старую вату.

На улице людно. Из-за чего-то суматошатся мальчишки, орут, насканивают друг на друга. Я иду, оглядываясь по сторонам, и спотыкаюсь на каждом шагу,— глазею то на верблюдов, то на птиц, прыгающих на деревьях.

Миновав Чорсу, мы сворачиваем к клеверному базару. Хлопкоочистительный завод рядом с просторной площадью. Уже слышится шум воды. Бабушка сбрасывает с головы узел, вздыхает с облегчением:

— Ух... пришли, кажется...— и тяжело опускается на землю.

В это время со стороны канала появляется стая гусей. Все откормленные, белые. Может, их заинтересовали наши

узлы, не знаю, но они бегут прямо на нас, вытянув длинные шеи. Я отбрыкиваюсь, крепко ухватившись обеими руками за узел на голове. Бабушка помогает мне, машет на гусей широкими рукавами, приговаривая:

— Вай, смерть моя! Вай, смерть моя, что же такое? Да что же это такое? Гоня их, сынок, гони!..

Кое-как отделившись от гусей, запыхавшиеся, мы опускаемся на корточки перед заводом.

— Хей, сынок, подойди-ка сюда!— зовет бабушка показавшегося из ворот рабочего.— Очисти нам вот эту вату. Хорошенько очисти,— просит она и начинает обычные длинные-предлинные благопожелания:— На деток своих порадоваться вам, внуков-правнуков дожидаться!..

Худой, обросший волосом рабочий, одетый в грязные латаные штаны и такую же грязную латаную рубаху, забирает наши узлы и молча уходит.

Бабушка растерянно смотрит ему вслед.

— Чудно! Ни «да» тебе, ни «нет» не сказал, молчком подхватил узлы и бежать! А вдруг не вернется?

— Вернется, бабушка, не бойтесь!— говорю я беспечно и отправляюсь на берег канала.

Медленно вертится большущее водяное колесо. С него с грозным гулом рушится вода.

Подвигаясь понемногу, я незаметно оказываюсь на заводском дворе. Здесь всюду хлопок. Рабочие в пыли с головы до ног.

Побродив некоторое время, я возвращаюсь к бабушке и опускаюсь рядом на корточки. Вскоре появляется уже знакомый нам рабочий с нашими узлами, он кладет их перед бабушкой, смеется:

— Вот, смотрите, мать. Сами, пожалуй, не поверите. «Ах, вот это вата!»— скажете. Сколько дней пришлось бы вам спину гнуть, сидя на полу, распушивая вату хлыстами, а тут — раз!— и готово!

Бабушка щупает пушистую вату, белую, как снег, и невольно улыбается.

— Две теньги полагается с вас,— говорит рабочий.

Бабушка спохватывается, довольная, она снова и снова желает рабочему всяких благ, развязывает узелок платка и, пересчитав несколько раз, протягивает деньги. Потом, кивнув мне на один из узлов, сама вскидывает на голову какой побольше, говорит:

— Ну, пошли, внучек!

Хотя узлы стали объемистее против прежнего, мой теперь кажется легче филинова пера.

Домой возвращаемся мы через базар. Люди здесь кишмя-кишат, площадь — кипящий котел. На каждом шагу торгуют кислым молоком, каймаком, льняным маслом. Я иду, озираясь. А бабушка то и дело оглядывается, — боится, как бы я не отстал, не упал с узлом. Бранит меня:

— Перестань озираться! Под ноги гляди!

Тут внимание мое привлекает известный дивана-юродивый. Он, как всегда, верхом на ишаке, худой, тощий, на подбородке ни одного волоска, на голове грязная засаленная чалма, одежда рваная, вся в заплатках. На руке у него ворон.

Я пытаюсь остановить бабушку:

— Бабушка, смотрите, дервиш с вороном!

— Полоумный какой-то, провалиться ему! А ворон к чему? Ни к чему совсем. Идем. Идем же, сказано тебе! — кричит бабушка.

— Нет, подождите немного. Может, дервиш заставит ворона показать что-нибудь интересное?

Несколько уличных парней пристают к юродивому:

— Ну-ка, заставь его отколоть какую-нибудь штуку!

Юродивый слегка подталкивает ворона пальцем:

— А ну, спой, спой разок! — Потом оборачивается к мальчишкам и парням, окружившим его: — Знайте, други, ворон — священная тварь. На нем благословение нашего пророка, и живет он тысячу лет!.. — Ворон нехотя каркает, протяжно, с каким-то глухим скрипом. Дивана подхватывает. — Смотрите, смотрите! Заговорил бедняга, он напоминает вам о деньгах...

Караульщик, стоявший в стороне, внезапно выплескивает на голову юродивого ведро воды. Тот раздражается проклятьями:

— Чтоб тебе ослепнуть! Бойся проклятья ворона, глупый человек! — и понукая ишака, скрывается в соседнем торговом ряду.

Мне жалко юродивого, а еще жальче ворона. Я ругаю про себя караульщика: «Чтоб тебя, испортил все дело! И человека обидел ни за что...».

Усталые, мы с бабушкой идем дальше. И благополучно доставляем домой свои узлы с ватой.

* * *

Помешанных в городе много. В нашем квартале Гавкуш тоже сошел с ума один скромный и смирный человек. Рассказывали, что он был участником одной компании, по очереди устраивавшей вечеринки с угощением. На одной из

таких вечеринок его друг пошутил: «А что, хватило бы у тебя смелости в полночь сходить на кладбище? Говорят, это очень страшно. Темень, мертвецы перешептываются тихонько». — «Раз так, могу сходить!» — отвечает тот. — «Но у меня есть условие: вы должны устроить богатое угощение на сорок человек!» Друг ответил согласием: «Хорошо, обещаю устроить такое угощение!»

Тот пошел на кладбище, а вернулся помешанным.

Заметно похолодало. В воздухе, раскачиваясь, парят опадающие листья. Осень.

Мы, кучка мальчишек, играем на улице. Вдруг из двора напротив выбегает помешанный. Он совсем голый. Мы — кто куда: один юркнул в калитку, другой прижался к подворотне. Нам и боязно и любопытно.

Помешанный бежит к мечети, подхватывает огромный, неподъемно-тяжелый общественный котел, лежащий на террасе, и швыряет его в хауз.

Испуганные, мы бежим по улице, кричим:

— Помешанный! Помешанный сорвался.

Помешанный бросается за нами.

Мужчинам, какие сбежались на шум, с большим трудом удается поймать беднягу, они уводят его домой и снова сажают на цепь.

Мы, мальчишки, очень боимся этого помешанного. Меня, например, если мне приходилось идти одному в сумерки, всегда тревожило и подгоняло опасение: «А что, если выскочит этот сумасшедший?!»

* * *

В самый разгар забот и хлопот о дровах, угле, о запасах зерна, муки внезапно нагрянула зима. Холодная. С сугробами снега, с лютыми морозами.

Мы, мальчишки, как всегда зимой, с азартом катаемся по толстому льду хауза, по улицам, укатанным арбами и утоптаным пешеходами, с увлечением лепим снежных баб, с углями вместо глаз. А когда это надоедает, собираемся где-нибудь в затишке, у чьих-либо ворот, и рассказываем сказки.

Особенно мастерски рассказывал сказки Ахмад. Это был смысленый парнишка с живыми огненными глазами. Отец у него умер, воспитывался он у своей бабушки. А бабушка у него — неиссякаемый источник сказок. Ахмад слово в слово расскажет все, что слышал от бабушки, да еще и от себя пристегнет-прибавит. Поэтому мы чаще всего и приставали именно к нему. Да он и сам любил пофанта-

зировать и, рассказывая, подобно старикам и старухам, здорово умел приукрасить свои сказки всякими таинственными и страшными подробностями.

Заслушавшись Ахмада, мы подолгу сидели где-нибудь в подворотне, а то и прямо на улице, не обращая внимания на снег, на холод, на мороз. А когда Ахмад уставал, упрашивали Агзама, он тоже знал множество сказок.

Вечерами к нам часто приходила наша соседка — тетя Рохат. Склонившись над тесьмой, она любила рассказывать всякие занимательные истории. Рассказывала очень искусно, говорила складно. Этому она научилась у своего покойного отца. «Отец мой,— смеялась она,— был человеком бедным, нищим, но зато богатым на сказки».

Террасу мы не покидали до самой середины зимы. Широкий полог, которым занавешивали террасу со стороны двора, несколько защищал нас от хлопьев снега. Забравшись под одеяло сандала, я упрашивал:

— Тетя, милая, ну, начинайте. Из самых лучших, из самых страшных!

Мать и старшая моя сестренка Каромат сидели, вышивая тесьму и изредка перекидываясь словом. А тетя Рохат рассказывала все новые и новые сказки про дивов, ведьм, про львов, волков, легендарных птиц, каких и представить-то было трудно.

Сказки тети Рохат всегда были длинные-длинные, так что она, как в «Тысяче и одной ночи», обычно прерывала свой рассказ на самом интересном месте, брала свою рабочую сумку и уходила, обещая: «Остальное доскажу завтра».

* * *

Наш квартал Гавкуш, благодаря бесконечным разделам новых поколений, в течение веков измельчал и состоял из напоминающих пчелиные соты, притиснутых один к другому, маленьких двориков-клеток. По этой же причине, наверное, большинство жителей квартала были в близком или дальнем родстве друг с другом.

Вообще квартал жил дружно, но по временам между отдельными семьями возникали кляузы, ссоры, даже драки. Особенно часто, как внезапный ливень, ссоры вспыхивали между двумя снохами Сарой Короткой и Сарой Длинной, а также между нашими соседями Гаффаром-ака и тетей Рохат.

Гаффар-ака никак не мог ужиться и со своей невесткой, вдовой старшего брата. У них были отдельные дворы,

отдельное хозяйство, и все-таки ссорились они довольно часто.

Вот и опять, слышно, скандалят. Старуха уселась на лестницу, прислоненную к ветхому дувалу, разделявшему их дворы.

— Хей, земля тебя поглотит, Гаффар-буян, и не стыдно тебе?— кричит она, простерши перед собой руку.— Единственный сын у меня, кроткий, тихий, уважительный парнишка, а ты только и знаешь — клянешь его, чтоб тебе язык отрезало!

Гаффар-ака, задыхаясь от гнева, орет со своего двора:

— Глупая старуха! Есть мне время! Я попытался лишь наставить твоего озорника-сына, только и всего. А ты разгавкалась. Слезай с лестницы! Убирайся домой!

Но где ему одолеть старуху! На его голову рушится новый поток проклятий:

— Вай, вонючий старик! Борода побелела уже, а ума все не набрался. Какое тебе дело, домой ли я пойду или по улице стану разгуливать? Мне самой это лучше знать. Я сама себе хан, сама себе бек. Прикороти свой язык. Посмей только еще хоть слово сказать сыну, я тебе бороду по волоску выдеру, тощее привидение!..

Гаффар-ака тоже не уступает. Отшвырнув недовязанный веник, он решительно подходит к дувалу:

— Замолчи, злобная старуха!..

Скандал разгорается еще жарче.

Собираются соседи. Все пока молчат. Тетя Рохат, стиравшая в глиняном корыте в дальнем углу тесного двора, только хмурится да время от времени насмешливо кривит губы.

Между тем Гаффар-ака и старуха поносят друг-друга такими словами, что и на лопате не удержать. Старик, красный, как гребень петуха, расвирепел и уже, вероятно, не понимает, что срывается с языка.

Брань и взаимные проклятья длятся долго. Наконец, вмешиваются соседи: «Довольно, довольно! Хватит вам!»— и кое-как тушат ссору. Гаффар-ака и старуха, уморившись ли, а может, устыдившись соседей, скрываются в своих норах.

* * *

Каждый день — школа. За зиму я закончил коран. Однажды учитель подзывает меня к себе и говорит:

— Благородный коран ты заучил, высказав должное прилежание, хвала тебе, сын мой! Да... А теперь неси

«Суфи Аллаяр», только...— О! на минуту задумался, зажмурив глаза.— Только условие такое: вместе с «Суфи Аллаяр» принесешь блюдо жирного плова с мясом, узел сдобных лепешек и рубль деньгами. Хорошо?

Потупившись, я молча наклоняю голову и почтительно киваю в знак согласия. А после учения бегу домой. Кричу с ходу:

— Мама, мама! Я уже кончил коран, перехожу к «Суфи Аллаяр». Учитель сказал, надо принести блюдо плова, сдобных лепешек и рубль деньгами.— И обнимаю мать за шею.— Мамочка, я обязательно должен отнести все, что требует учитель, иначе...

Мать прижимает меня к груди.

— Жертвой мне стать за тебя!— говорит она улыбаясь и раз за разом целует меня. Однако радость, на один миг вспыхнувшая у нее в глазах, тотчас гаснет.— Учитель твой хороший человек, но есть за ним одна слабость — назойлив он и сорвать любит. Я со всей бы душой приготовила плов, да ведь в доме ничего нет. Как тут извернешься?..

Весь день я капризничаю, пристаю, надоедаю. В конце концов добиваюсь своего: на следующий день утром мать, бедняга, готовит плов. С этим подношением, а также с рублем денег и с новой книжкой я и отправляюсь в школу.

«Суфи Аллаяр»— маленькая книжонка с религиозными стихами. В ней есть стихотворные рассказы о пророках, а также полные ужасов рассказы о судном дне. Стихи простые, язык хороший, но — сплошное суеверие!

Каждый день я учу стихи, до хрипоты, до помутнения в глазах, и очень скоро начинаю читать их довольно лично.

Наступает весна. Всюду тюльпаны, яркая зелень трав. Журчит вода в переполненных арыках. Деревья в цвету. В поднебесьи плывут отливающие атласом облака.

Для встречи праздника науруза мы опять отправляемся за город. День проводим дурно — в схватках, в драках.

* * *

Как-то утром бабушка, уходя из дому, прихватила с собой и меня. По дороге к нам присоединились Сара Короткая, Сара Длинная, невестка Гаффара-ака и еще немало других женщин нашего квартала.

Вышли на улицу, по которой бегают конка. На перекрестке по случаю пятницы кишат толпы народа. Мы идем вдоль крутого берега канала. Я шагаю впереди, на голове — большой узел со сдобными лепешками. Вдруг, смотрю, из яра навстречу нам скачет конь, видно, убежал, сбросив хозяина. Женщины в испуге метнулись в сторону. А я стою, как вкопанный, смотрю ему вслед — такой он могучий и красивый на редкость. Поэтому, наверное, я и не испугался, хоть мне показалось, что конь пронесся прямо у меня над головой. Вскоре из яра, прихрамывая, убежал хозяин, весь мокрый, запыхавшийся.

Переходим по мосту канал, долго шагаем улицей Алмазар. Минуем полицейский участок со свирепыми миршабами у ворот. Потом, не доходя Беш-агача, сворачиваем в какую-то узенькую улочку, тихую, прохладную, с журчащими арыками вдоль дувалов, с утопающими в садах дворами. За дувалами видны высоко поднятые на четырех столбах помосты, увитые виноградом, деревья, ветви которых свешиваются на улицу, глиняные крыши домов и других построек с коврами зеленой травы, расцвеченной алыми маками.

Справа показались огромные ворота с двухскатным навесом. Через эти ворота мы входим на просторный двор с двумя рядами новых помещений по сторонам, крытых камышом и глиной, но добротных. Во дворе много цветов: желтых, красных, белых — всяких. Здесь уже собрались толпы женщин и старух. Сновали кучки шумных и озорных ребятишек.

На середине двора, возвышаясь, словно громоздкое надгробье с куполом, на широком низком табурете восседала ишан-аим, тучная женщина с багровым, как гребень петуха, лицом, с широко распахнутыми бровями и подведенными сурьмой глазами. На ней был длинный черного бархата бешмет, под ним белое шелковое платье, на голове — тонкий кисейный платок, а поверх него еще один, шелковый фабричный, как у завязанной щеголихи.

Подходит толпа разодетых жен богачей. Одна за другой они бросают к ногам ишан-аим звонкие золотые, синие бумажные пятирублевки, красные десятки. Отходят в сторону, перемигиваются между собой, насмешничая над бедными старухами, принесшими сюда медные пятаки или чудом сэкономленные серебряные полтинники.

Ишан-аим, нахмурив брови, сидит молча, строгая и неприступная. Лишь время от времени повернет голову, с чуть приметной улыбкой шепнет что-то на ухо кому-либо

из спящих вокруг и снова застынет, как монумент. Наконец, она медленно поднимается с табурета. Женщины тотчас образуют широкий круг, ишан-айм, важно ступая, начинает радение. Старухи идут по кругу, выкрикивая «Хув-хув!», поводя руками и изгибаясь то в одну, то в другую сторону, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Очень скоро многие впадают в экстаз, теряют власть над собой, выкрикивают «Хув-хув!» все громче, уже с хрипом. А в это время пять молодых женщин нараспев читают по памяти газели Машраба, Хафиза. Две из них, совсем молоденькие, красивые и статные. На них скромные, но дорогие платья, длинные камзолы, на головах сверкающие белизной кисейные платки. Голоса у женщин приятные. Читают они с большим чувством, самозабвенно, и я слушаю их, позабыв обо всем на свете. Долго слушаю... Кажется, чудесная музыка заполняет мне сердце, проникает в душу...

В кругу радеющих Сара Короткая и Сара Длинная. При взгляде на них меня душит смех. Особенно в ударе Сара Короткая. Из горла у нее вырывается какой-то писклявый хрип, изо рта брызжет пена. Голос Сары Длинной низкий, рокочущий. Она идет в голове круга радеющих. Бабушка моя, бедняга, стоит в сторонке, и слабым, чуть слышным голосом выкрикивает вместе с другими «Хув-хув!». А в ворота валят все новые и новые толпы женщин.

Сначала все это занимало меня, но вскоре надоело. Я отправляюсь в сад, шагаю среди урюковых, ореховых деревьев, вишен, черешен, старых раскидистых яблонь. Таких, как я, ребяташек, здесь много.

Ягоды черешни только-только начали краснеть, наливаясь соками. Я хватаюсь за нижнюю ветку, потихоньку поднимаюсь все выше и незаметно оказываюсь на самой верхушке старой черешни. Торопливо обрываю ягоды, сую по карманам. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется старик-работник. Задыхаясь от злости, старик начинает орать на меня:

— Эй, ты куда залез, подлый выродок!

Я смотрю на него сверху, стоя на упруго покачивающейся ветке:

— Отец, не ругайтесь, здесь много женщин, стыдно!

— Сейчас же слезай вниз, ублюдок!— сердито кричит старик.

Я секунду раздумываю: попасть в руки старику — дело нешуточное. Оглядываюсь. Вижу внизу, рядом с черешней, приземистую кухню, изловчившись, спрыгиваю на земля-

ную крышу и — наутек. Старик опешил, застыл на месте, схватившись за ворот от удивления: «Ну и озорник!» А я, переходя с крыши на крышу, разгуливаю, как ни в чем не бывало, обрываю низко склонившиеся ветви урюка, вишни, черешни. Потом, обнаружив невысокий дувал, спрыгиваю с него во двор и убегаю на улицу.

У ворот собралась толпа мальчишек. Играют в чижика, в классы и другие игры. Потом затевают борьбу. Сначала борются малыши, подростки — 12—14 лет. Мне тоже хочется попробовать свои силы, но я не решаюсь выйти в круг, смелости не хватает. Затем очередь доходит до больших, они борются на поясах. Атаман-заводила, приземистый, грудь колесом, голова с большой глиняный кувшин — вертится тут же, распоряжается: «Давай, давай, выходи! А ты отдохни пока. Толку мало от тебя, на ровном месте спотыкаешься!» Для ребят бороться на поясах — большая честь. Атаман сам перепоясывает борцов. Кое-кто скандалит, капризничает: «Атаман, смотрите, смотрите! У него поясной платок совсем слабо подпоясан!» И шуму, и споров вообще много. Кое-кто из побежденных плачет от стыда. А иные скандалят: «Это нечестно, нечестно! Давайте снова!» Но вот в борьбу вступают два паренька. Ого! Оба мускулистые, жилистые, крепко сбитые и по всему видно — отчаянные. Они рывком приподнимают друг друга, кружат, валят на землю, но ни одному не удается положить противника на лопатки. Не менее получаса, наверное, возятся борцы, здорово стараются. Оба обливаются потом, а одолеть друг друга не могут. Тогда заводила кричит им:

— Все, хватит! Молодцы, спасибо вашим родителям! Обоим вам быть силачами!

Борцы запыхавшись, отпускают друг друга.

— Тебя как зовут? Из какого квартала ты? — вытирая пот, с достоинством спрашивает один из них своего противника.

— Я из Кукчи. Зовут Бутабаем. А ты?

Тот опускается на корточки:

— Я из Шейхантаура. Никого из родных у меня нет, одна старая бабушка. Живем мы бедно, я делаю кирпичи. Видишь, руки у меня какие жилистые.

Паренька из Кукчи я немного знаю. Это мне льстит, и я спешу вмешаться в разговор:

— В квартале Кукчи у меня много родни. Я тебя знаю, Бутабай, отец твой кожевник, — говорю я борцу. — Ты большим силачом станешь, вон какой ты жилистый!

Мы шутим, смеемся, вспоминаем разные случаи.

Недозрелая вишня и черешня, видно, здорово продрали мне желудок. Я захожу в ворота и тихонько шепчу бабушке:

— Есть хочется, терпения нет. Хоть кусок лепешки достаньте мне.

— Потерпи немного, стыдно же,— прикусив губу, говорит мне бабушка.

— Все приношения — узлы сдобных лепешек, блюда плова — ишан-аим уже велела спрятать и запереть на замок. И караульщицу выставила у кладовки, какую-то старушонку, маленькую, сморщенную, но ядовитую до крайности.

Близко к вечеру начали раздавать машевую похлебку. Бабушка раздобыла мне немного похлебки, на две чашки, усадила меня на корточках:

— На, поешь. Это святая пища!

Похлебка оказалась жидкой и к тому же прокисшей. Браня в душе ишан-аим, я все же быстро опорожнил чашку. Потом наклонился к бабушке:

— У вашей ишан-аим только деньги на уме. И вы, наверное, порядочно отвалили ей, а?

Бабушка ущипнула меня за бок и зашептала испуганно:

— Закрой рот, озорник! Это же грех! Ишан-аим чистая, непорочная женщина, с утра до вечера она в молитве, в служении богу. Она из потомков пророка!..

— Чудно!— говорю я, широко раскрыв глаза от удивления. — Зачем же чистой, непорочной женщине деньги?

— Замолчи!— незаметно ткнув меня локтем, сердито говорит бабушка.

Покончив с похлебкой, я нарочно со стуком ставлю чашку на землю, говорю негромко:

— Бабушка, бабушка! А у вашей ишан-аим четыре дочки. Я подсмотрел, они на внутреннем дворе. Одна щеголиха, фасон давит, другая зазнайка — нос дерет. А как расфуфырены, покрашены все!..

Бабушка морщится от досады, сердито тарашит на меня глаза:

— Помолчи, бестолковый! Опозоришь...— и опять ущипнула меня, да еще с вывертом.

Я, хоть и больно было, громко рассмеялся.

На закате солнца мы вместе с соседями возвращаемся домой.

— Мама, хочу есть!— заорал я, едва переступил порог калитки.

— Проголодался?— удивляется мать.— Неужели ты остался голодным в таком богатом доме?

— Ишан-аим такая жадная, куда до нее нашему учителю!— говорю я, доставая хлеб из ящика.

Бабушка промолчала, только хмуро взглянула на меня, резко повернулась и скрылась в амбаре.

Мать ставит передо мной чашку лапши, присаживается напротив. Слушает меня с чуть приметной улыбкой. А я, жадно поедая лапшу, со всеми подробностями рассказываю обо всем, что видел в доме ишан-аим.

* * *

Гавкуш — тесная улочка, но на одном из поворотов она расширялась в небольшую площадку, на которой арбакеши обычно оставляли свои арбы.

Иногда, если надоедало играть в чижики, в орехи, мы пользовались этими арбами для своих забав. Девчонки и мальчишки все вместе усаживались на дощатый помост между высокими колесами, а кто-нибудь катал арбу по этой площадке.

Помню такой случай. Арбу до отказа заполнили ребята. Я обеими руками ухватился за оглобли, чуть приподнял их. Вдруг арба, перевесив, опрокинулась назад. Я вместе с оглоблями взлетел вверх и, не удержавшись, шлепнулся на землю. Заорал во все горло: «Ой, руки! Ой, ноги!» Ребята с испугу застыли на мгновение. Потом горохом посыпались с арбы, окружили меня.

— Что у тебя болит? Что повредил?

Я поднялся с земли. Прихрамывая, сделал два-три шага и громко расхохотался:

— Дурные! Сгрудились на задке и опрокинули арбу. Я думал, под самые небеса взмахнул

Все опять кинулись к арбе. В это время подъехал высокий старик с загоревшим на солнце морщинистым лицом.

— Прочь отсюда! Прочь, сорванцы! Еще убьетесь, сверзившись,— закричал он на нас, выпрягая из арбы свою невзрачную заморенную лошаденку, до крайности тощую, с побитой спиной.

Мы оставляем арбу и молча усаживаемся на корточки в ряд по краю улицы. Перешептываемся между собой, сочувственно посмеиваясь над стариковой лошадью:

— Бой-бой-бой, как хворостинка высохла! Другой такой тощей, пожалуй, во всем свете не сыщешь!

Старик, хмурясь, забирает с арбы свои пожитки, хлопает ладонью по крупу лошади. Бедняга, низко опустив голову и еле передвигая заплетающиеся ноги, устало бредет к знакомой калитке.

Старик вскоре возвращается к арбе. Арба у него ветхая, расхлябанная, вот-вот развалится. Она вся в жестяных заплатках, на ободьях обрывки старых шин.

Мы начинаем поддразнивать:

— Арба у вас добротная, прочная, только поскрипывает да бренчит-дребезжит малость.

Агзам шепчет мне на ухо, но так, чтобы всем было слышно:

— Арба редкостная, допотопных времен. Мастер будет жив-здоров, она еще не раз будет чинена-перечинена...

Старик молча продолжает заниматься своим делом: крепит порастрескавшиеся ступицы гвоздями, смазывая оси колесной мазью. Вытирая перепачканными мазью руками пот, он и лицо себе расписал черными полосами. Мы подталкиваем друг друга, пересмеиваемся.

Вдруг, откуда ни возьмись, заявляется известный в нашей округе Расуль-орус. Прозвище «орус» (русский, русак) ему дано за то, что в разговоре он к месту и не к месту любил вставлять русские слова. Длинный, лицо узкое, морщинистое, с резко выпиравшей нижней челюстью, глаза наглые, на пальцах огромные перстни, в руке палка, а в зубах неизменная папироса,— он был постоянно пьян, торговал на базаре железным ломом и всяким тряпьем, хвалился, что хорошо говорит по-русски, а собственно умел только ругаться.

— Марш, хулиганы!— заорал на нас Расуль. Потом напустился на старика:— Эй, ты, арбакеш! Пошел отсюда, свинья! Забирай свою арбу, весь дувал мне развалил! Где у тебя глаза? Смотри, что это?— и тыкал палкой в осыпающиеся от дождя и ветра места дувала.

Старик, дрожа от гнева, перетащил арбу на другую сторону улицы.

— Эй, послушай! Что могло случиться с твоим дувалом? Вон он стоит на месте, ослепнуть тебе!

Расуль бросается к нему с поднятой палкой:

— Убью, сволочь!..

Старик выходит из себя, отвечает непристойной бранью. А Расуль, коверкая слова, продолжает осыпать

его русскими ругательствами, вот-вот полезет в драку. Собираются жители квартала.

— Сын блудницы, безбожник! — выкрикивает выведенный из себя старик. — Эй, люди! Извел он меня до смерти, этот скандалист! Я занимаюсь своим делом, до его дувала и пальцем не дотронулся! Нажрется водки, очумеет и начинает скандалить, никому жизни нет от него!

Расуль-орус снова подступает к старику с палкой.

— Подожди, вот пожалуйсь на тебя в полицию, заохашь тогда. Водку я на твои, что ли, деньги пью, сгореть тебе в могиле? Ну, отвечай сейчас же!..

При упоминании о полиции всех бросает в дрожь. Несколько человек пытаются унять Расуля.

— Довольно, довольно, перестань. Хоть седидам его уважение сделай! — уговаривают они и в конце концов спроваживают Расуля домой.

* * *

В квартале почти не осталось ребят, все разъехались, кто куда. Тишина кругом такая, словно улицу залило водой. От скуки я настроил решето-капкан, ловлю горлинок, воробьев. Но бабушка сердится: «Грех же!» Мать бранится. А дни-то долгие-долгие.

Во дворе нашего соседа торчало единственное дерево — яблоня, высокая, уже старая, наполовину засохшая, но она еще родила. Яблоки на ней только-только начали поспевать. Хозяев дома нет — перекочевали за город, там у них усадьба с садом. Мы — Агзам, Ходжи и я — персмакнули через дувал, взобрались на яблоню. Яблоки червивые, безвкусные, как вата. Но нас это не смущало — мы наелись досыта, насовали яблок за пазуху. Потом начали трясти яблоню, что есть силы, но слезть и собрать яблоки не успели: снаружи неожиданно загремела цепочка, открылась калитка, во двор вошел хозяин дома. С длинной хворостиной в руке он подошел к яблоне и закричал, задрав голову:

— Слезайте, негодники!

Бледные, растерянные и жалкие, мы пританцались на яблоне. Слезать — боязно. И не слезать — нельзя. Бежать — как тут убежишь?! Чувствуя, как дрожат ноги, руки, мы медленно спускаемся на землю. Хозяин дома стоит над нами. Раза два замахнулся хворостиной, но почему-то бить не стал, а только пригрозил:

— Второй раз вздумаете перелезть через дувал, тронуть яблоню, ноги переломаю!

— Дяденька, больше никогда не тронем!— захныкали мы в один голос.

Хозяин ничего не ответил, молча повернулся и ушел в дом. А мы в одну секунду оказываемся на улице.

...Солнце палит. Пыль на улице раскаленным угольем поджаривает ноги. В воздухе, вычерчивая круг за кругом, медленно кружит коршун. Воробьи здорово дразнят его. Подлетят близко-близко и — раз! — нырнули вниз. Коршун, поддавшись на их уловки, бросается вслед, но всякий раз оказывается обманутым. Нас забавляет эта игра. Потом мы взбираемся на крышу высокого двухэтажного дома, ищем гнездо трясогузки.

— Нашел, нашел!— шепчу я товарищам.

Трясогузка сидела на яйцах. Она вспорхнула и улетела. Ребята с интересом рассматривают яйца, осторожно перекатывают их на ладонях.

— Ребята, не будем трогать,— говорю я.— Пусть она высидит птенцов.

Переходя с крыши на крышу, мы добираемся до Акмечети и затем до Балянд-мечети. Крыши горячие, воздух пышет пламенем, но мы не замечаем жары.

Бай и их сынки злятся, кричат снизу:

— Эй, что вы там делаете? Убирайтесь с крыши, нищее отродье!

Но мы не остаемся в долгу, выкрикиваем хором:

— Скупой бай! Жадный бай! Глупый бай!— швыряем комья земли и убегаем.

Так проходит время. Каждый день мы посещаем школу. Ученье дается с трудом. Многие ребята учатся по четыре, по пять, по шесть лет и бросают, дойдя до «Хафтияка». В учении нет твердо установленного порядка, правил, нет отдельных классов. В одной комнате громко, во весь голос, зубрим мы каждый свой урок. У кого есть усадьба, те всю весну и лето проводят за городом. А те, кто остался здесь, как я, например, хоть и дуреют от жары в душном классе, хоть учение опротивело нам до отвращения, вынуждены отсиживать положенное время в школе, завидуя счастливым и мечтая хоть о маленьком садике.

— Отец говорил: вот накопим денег немного и купим сад,— вздыхает один из мальчишек.

— Денег накопить можно, если быть бережливым,— вступает в разговор другой.— Дядя каждый годовой праздник дарит мне пятак, а я сейчас же прячу его в шкатулку

и запираю. Пусть это будет через тридцать — сорок лет, а на сад я обязательно накоплю. Отец говорит: капля по капле — озеро собирается...

Все мы громко хохочем.

— Сад — штука хорошая, да разве накопишь на него, собирая по пятаку?!

— Отец у меня парикмахер, — невесело говорит третий, — как мы можем накопить денег? Казан кое-как кипятим, да и то один день — мучная похлебка, другой — постный суп...

Я молчу, понурившись.

На школьном дворе, у хауза растут красивые шелковицы с пышными кронами. Учитель приказывает нам перекопать в тень шелковиц. Поднимается суматоха, мы подхватываем циновки, старую ватную подстилку, облысевшую овчину учителя и бежим к хаузу.

— Дети! Смотрите, циновки истрепались уже. Несите по целковому кто побогаче, по полтиннику с остальных, — строго приказывает учитель.

Требование денег на циновки особенно огорчает и вызывает беспокойство у ребят из бедных семей.

Жара стоит нестерпимая. Замерли, не шелохнутся листья на шелковицах. Разморенные духотой, утомленные зубрежкой, полусонные, мы затихаем. Тогда учитель внезапно встает и начинает хлестать нас всех подряд плетью.

— Господин! Вот уже третий день, как запропал Али. Если разрешите, я схожу к нему домой, узнаю, в чем дело, — с поклоном спрашивает учителя Агзам.

— Сиди, учи свой урок! — сердито обрывает его учитель. Потом приказывает мне и двум пятнадцатилетним подросткам, отличавшимся силой: — Идите, разыщите и приведите его, подлого!

Радуюсь неожиданной свободе, мы все трое разом срываемся со своих мест и убегаем.

Дом Али в квартале Джар-куча. Мы входим во двор, здороваемся с его матерью:

— Ассалам алейкум! — Спрашиваем: — А где Али? Мы пришли за ним.

— За ним пришли? — говорит обрадованная мать Али. — Этот озорник на качелях качается вон на том дворе. Вы подойдите тихонько и сразу хватайте его, иначе он убежит.

Мы идем, осторожно ступая на цыпочки. Али и правда на качелях. А чуть дальше две хорошеньких девчонки собирают цветы в цветнике.

Качели устроены между двумя карагачами. Али с увлечением летает вверх-вниз.

Мы подбегаем внезапно. Али бледнеет, прыгает с качелей. Но один из моих спутников успевает схватить его и вывернуть ему руки.

— Идем, быстро! Пикнешь только, «пастилу» устроим — схватим за руки, за ноги и понесем,— пригрозил он.

Девчонки застыли, пораженные, поглядывают то на Али, то на нас. Встряхнув его хорошенько, парень освобождает руки Али.

— Ну, пошли!— говорю я.— Бери свою сумку.

Али с минуту молчит, понурившись. Потом, не поднимая глаз, начинает упрашивать нас:

— Учитель злой, прибьет... Сегодня вы не трогайте меня, завтра я сам приду.

— Идем, друг. Учение, конечно, дело не простое. Это все равно, что иглой колодец копать,— мягко говорит второй паренек.— Но ты все-таки не бросай школы, потом жалеть будешь.

Расфранченные соседские девчонки, хмурые и погрузневшие, уходят к себе домой. Али тоже, казалось, решил сдаться, он покорно вешает через плечо школьную сумку и первым выходит со двора. Но на улице, когда мы проходим мимо полуразвалившегося дувала, он ныряет в пролом. Мы разом бросаемся за ним. Али перепрыгивает через низенький дувал в соседний двор, а там по лестнице взбирается на крышу.

— На крышу убежишь, за ноги стащим, в землю зароешься — за уши вытащим!— грозит ему один из моих спутников.

Мы все трое быстро поднимаемся по лестнице. Али мечется с одного края крыши на другой, но деваться ему некуда. Мы настигаем его в конце концов и тащим к лестнице. Али тяжело дышит, запыхался.

— Пустите, я сам пойду,— говорит он.

Хмурые, обозленные, мы отпустили руки Али. А он внезапно отпрянул от нас, метнулся на противоположную сторону и спрыгнул на землю.

— Убежал, убежал!

Ребята метнулись с крыши, погнались за беглецом. Скатившись с лестницы, я тоже бегу за ними. Али летит стрелой, но ребята не отстают, грозятся: «Вот, погоди! Мы тебя...» Али убегает к Шейхантауру. Мы несемся за ним.

В конце концов, запыхавшиеся, усталые, мы ловим Али. Вывернув руки за спину, скручиваем его собственным

поясным платком и, браня и угощая тумаками, тащим в школу.

— Нет, не пойду!— говорит Али, упершись ногами в землю.

Он весь дрожит. Мы грозим ему. Упрашиваем, но он не поддается. Тогда мы тащим его: двое парней подхватывают под мышки, а я подталкиваю сзади.

Али ревет, брыкается, кусает нам руки. Лавочки и мясники смеются:

— Сбежал из школы? Тащите, так ему и надо!

Когда добраемся до Ак-мечети, Али со слезами начинает умолять нас. Мы не отвечаем, молча тащим его и доставляем, наконец, в школу. Втроем, перебивая друг друга, рассказываем обо всем учителю. Али дрожит. Учитель, крепко стиснув зубы, поднимает плеть. Но мы вступаемся, спрашиваем:

— Господин! Он покался, больше не станет убегать. Он крепко пообещал нам...

Учитель медленно опускает плеть и прячет ее под овчинную подстилку.

— Садись! Садись же!— кричит он сердито.

Али, то бледнея, то краснея, мешком опускается на свое место и раскрывает книгу.

* * *

Почти каждый день, возвращаясь из школы, я наведываюсь в мастерскую к деду.

Однажды дед послал меня к своему приятелю принести правило и сапожного клею. Я бегу кривыми узенькими улочками. Захожу на чисто подметенный двор. Здесь пышно цветут базилик, разных сортов петушьи гребешки, мальва.

Мастер работал вместе со своими учениками и подмастерьями. Узнав, зачем я пришел, он пошутил:

— Правила у меня нет, малыш, украли джины.— И выдержав паузу, прибавил:— А вот лягушек предостаточно...

Я выхожу из себя. В нашем квартале любят давать каждому прозвища, но когда моего деда называют лягушкой, я злюсь.

Заскучавшие за работой подмастерья и ученики тоже начинают разыгрывать меня. Один, уже пожилой подмастерье, косой, картавый, заросший бородой, размяв щепоть табаку, раскуривает чилим. Предлагает, обращаясь ко мне:

— Отведай, братец. Такое удовольствие получишь!

Я отказываюсь, но он сует мне в рот чубук, а сам, приложившись губами, сильно дует в отверстие кубышки. Рот мой наполняется горькой ядовитой водой, я кашляю чуть ли не до рвоты. Мастер и все его подручные хохочут.

Получив правило и клей, я тотчас выбегаю из мастерской. А очутившись во дворе, оборачиваюсь, выкрикиваю:

— Откормленный баран! Откормленный баран!— и улетаю со всех ног.

Мастер нарочно кричит подмастерьям и ученикам:

— Держи! Держи этого лягушонка!— и хохочет мне вслед.

* * *

В мастерскую к деду каждый день приходил кто-нибудь из жителей квартала провести время, от скуки поболтать о том, о сем. Был у него один знакомый, слушатель медресе, одинокий старый холостяк лет за пятьдесят, всегда чисто одетый, видный такой из себя, с умными, немного грустными глазами, с коротко подстриженной аккуратной бородкой. Он тоже иногда заходил и подолгу беседовал с дедом.

— Почтенный, расскажите нам что-нибудь из прошлого,— как-то попросил его дед.

Тот долго рассказывает о событиях в Кашгаре, в Китае. Я, затаив дыхание, слушаю его.

— Почтенный! Говорят, Худояр-хан стал пленником русского царя. А потом по слухам оставил своих жен в Туркестане и сам будто бы отправился в Мекку. Расскажите, как оно было. Правда, отправился он в Мекку или же до сих пор находится в плену?— спрашивает дед.

Старик степенно, не торопясь, начинает речь издали. Подробно рассказывает о падишахах, их женах, о беках, о разных событиях времен Тимура, об известных полководцах. Потом переходит к Худояр-хану.

— Худояр был ханом, слепым в своей жестокости, погрязшим в разгуле и разврате. И вот, он сгинул,— говорит старик.

— Все они на один покрой. Русские пришли — избавились от них. Только и царь тоже не отстаёт от них в тиранинстве,— говорит дед.

— Да, все они на один покрой,— соглашается старик. И помолчав, вздыхает.— Справедливого владыку-падишаха надо бы.

Я молча слушаю, прикорнув позади деда. А когда старик уходит, спрашиваю:

— Дедушка, он еще придет, этот ваш знакомый?

— Придет. На будущей неделе в четверг придет, сынок. Он долго жил в Кашгаре, а сам ташкентский. Редкостный человек, очень большой грамотей. Историю знает, как свои пять пальцев!— хвалит знакомого дед.

* * *

Поднимая за собой легкое облачко пыли, я катаю обруч у калитки дедова двора. Внезапно появляется конный миршаб, очень свирепый и жестокий человек, с длинными усами, с коротко подстриженной бородой, в папахе и с саблей на боку. Он сосед деда. Все жители квартала очень боятся его, заискивают перед ним.

Резко остановив около меня лошадь, миршаб орет:

— Ты что тут пыль поднимаешь, мерзавец?! Лошадь мне испугал.

Задрожав от страха, я спешу поздороваться:

— Ассалам алейкум!— Бормочу растерянно:— Я так... играл тут... господин...

Миршаб громко стучит рукояткой плети в калитку деда:

— Суфи! А ну, идите сюда!

Перепуганный дед, спотыкаясь, выбегает со двора. Униженно кланяется, сложив руки на груди.

— Ассалам!..— Спрашивает, поглядывая то на меня, то на миршаба:— Что случилось, господин мой?

— Чей это мальчишка?— грубо спрашивает его миршаб, показывая на меня рукояткой плети.

— Господин, это мой внучок, вы же знаете. Он большой озорник, но... парнишка неплохой,— неволью улыбается дед.

Миршаб, конечно, хорошо знал меня, просто хотел покуражиться, чтобы показать свою власть. Сердито взглянув на меня, он напустился на деда:

— А почему он пылит на улице, а? Лошадь испугалась, чуть не разнесла...— Он строго смотрит на деда, бросает в рот целую горсть насвая.— Ну, ладно, на этот раз прощаю. Наказал бы как следует, да ради вас пожалею дурня. Раз он ваш, вы и проберите его хорошенько. Мы живем в царствование владыки мира белого царя! А где же порядок?

Дед с напускной строгостью грозит мне пальцем, потом заискивающе говорит миршабу:

— Ребенок он, ребенок же... Мал еще, простите его, братец!

Меня зло берет, но что я могу поделывать? Стою, молчу. Миршаб, не отвечая деду и все еще хмурясь, слезает с лошади у своей калитки и входит во двор.

Когда миршаб скрывается с глаз, дед-бедняга берет меня за руку:

— Идем!

Мы входим в мастерскую. Подмастерья, ученики, оба дяди интересуются:

— Что такое? Что случилось?

Дед объясняет им.

— Эх, ножом бы на куски исполосовать этого миршаба!— говорит один из учеников.

— Тиранов великое множество, други мои, прибегайте к аллаху, только это нам и под силу,— говорит пожилой подмастерье.

Дед наставляет меня:

— Этот проклятый миршаб — тиран и притеснитель, да что мы можем...— говорит он, усаживаясь на свое место.— Когда бы ни повстречался с ним, приветствуй его саламом. Обязательно. Непременно! Беги от тирана, держись от него подальше...

Но я зло молчу и вскоре отправляюсь домой.

* * *

Бабушка, нацепив очки, латает что-то на террасе. Здесь же расположились с шитьем мать с сестренкой.

Время далеко за полдень. Жара адская. На террасе роем гудят мухи. Бабушка поминутно отмахивается от них, тихонько напевает про себя какую-то песню.

В калитку входит дядя Муслим:

— Ассалам алейкум!..

— А, заходи, заходи!— говорит ему бабушка. Она бережно кладет на полку очки, убирает работу.

Мать с сестренкой разом встают, приветствуют гостя. Потом мать уходит во двор, ставит самовар.

— Как здравствуете?— спрашивается у бабушки дядя Муслим, усаживаясь на узкую, стеганую на вате подстилку.

— Слава аллаху!— говорит бабушка и после краткой благодарственной молитвы спрашивается о домашних дяди:— Хайриниса-бану жива-здорова ли? Как невестка? Наверное, уже скоро родить ей?

Дядя Муслим высок ростом, у него густая окладистая борода, кустистые брови. На нем длинная просторная рубаха, поношенный халат, обычная замусоленная тибетейка. На грязных пыльных ногах огромные кауши из грубой кожи, одни зимой и летом.

Дом дяди Муслима тоже в квартале Гавкуш. Место это осталось ему от моего прадеда, отца бабушки. Двор у него большой, но дом и постройки низенькие, невзрачные. Во дворе на берегу арыка каждое лето цветут два куста чайных роз, ночные красавицы, петушки, шаровидный базилик.

Я часто бываю у дяди. На внешней половине двора у них растет старая тенистая яблоня. Каждый год она родит уйму кисло-сладких яблок, правда, червивых. В такую пору я часто там бываю и возвращаюсь с полным подолом яблок.

Дядя Муслим берет свисающую из-под тибетейки уже увядшую веточку базилика и протягивает ее Каромат:

— На, понюхай, свет мой. Это базилик, райская травка...

Сестренка с легкой улыбкой принимает подарок.

— Как ваши дела? Когда вернулись из Заркента?— спрашивает бабушка.

— Изворачиваемся кое-как, скитаемся в заботах о пропитании. Вот в город прибыл, два дня назад,— поглаживая бороду, степенно отвечает дядя.

Дядя Муслим ведет мелочную торговлю в Заркенте. Говорят, в лавке у него можно найти все, начиная от ниток-иголок и кончая ночными горшками и камышевыми трубочками под зыбки младенцев. Есть у него старая скрипучая арба и костлявая запаршивевшая лошаденка, которая никогда не видит зерна и постоянно довольствуется сеном да палыми листьями. Дядя до смерти прижимист и скуп. Эта особенность его характера известна всем и служит предметом постоянных насмешек.

Бабушка, поговорив о том, о сем, начинает жаловаться:

— Вот уже семь месяцев от Таша никаких вестей. Рис кончается, маш кончается, в хумах дно уже завиднелось. Чуточку пшеницы осталось, вот и все наши запасы. Невестка с внучкой тесьму ткут на продажу, тем и кипят котелок. Таш лишь изредка пришлет три—четыре рубля, и опять ни знака от него, ни признака. Забот-печалей много у меня, Муслимджан.

— Не огорчайтесь, потерпите. У Таша малость долгу есть, вот разделается он, тогда и заживете спокойно. Он щедрый человек...— говорит дядя, покачивая головой.

— Да пошлет ему аллах удачи и преуспевания в делах его! Пусть после меня долго живет он, детей своих растит,— со слезами говорит бабушка.

Они долго беседуют о всякой всячине. Дядя, заговорив о жене, тетушке Хайринисо, болезненной женщине, уже не поднимающейся с постели, жалуется:

— Все ей нездоровится. Измаялся я уже из-за ее болезни. И сама она в лучинку высохла. То требует муллу злых духов изгонять, то ворожею зовет. Канители столько,— говорит он и машет рукой:— Э-э...

Бабушка вздыхает.

— Жена твоя хорошая женщина. Извелась она от заботы, детишек ради старалась. Ты с ней по-доброму, по-хорошему. Хворь у нее тяжкая, пощедрей будь, Муслимджан, не скупись...

Мать приносит кипящий самовар.

Бабушка достает хлеб, сахар, изюм. Беседуя, они долго пьют чай.

— Ну, благословите, тетушка,— говорит дядя степенно.— Завтра приходите к нам. Принесу с базара голову, ноги, требуху. Люблю! Очень уважаю! Особенно голову и требуху. Хорошая еда! Было бы не худо приготовить вареной бараньей колбасы, начинив кишки и требуху мясом и рисом, да, жаль, дороговато обойдется, пожалуй. Впрочем, посмотрим, может, и соорудим, если попадется пошевеле...

Бабушка, посмеиваясь, обещает.

— Добро, приду завтра. Скучно мне, ладно уж, поразвеюсь малость.

Сунув ноги в свои пудовые, твердые, как железо, кауши, дядя прощается. Как только он скрывается за калиткой, мать и сестренка весело смеются. А бабушка старается оправдать его (она хорошо знает характер и привычки дяди Муслима, но не любит, если кто-либо начинает подсмеиваться над ним);

— Основательный, расчетливый человек, рачительный хозяин. Худо ли, что он вовремя закупает пшеницу, рис по дешевой цене? Или он должен на ветер пускать богатство, добытое с таким трудом?

— Дядя Муслим хороший,— говорю со смехом,— только скупой. Лошадь у него — чудо из чудес. И арба тоже, как «чертово колесо», скрипит-дребезжит, вот-вот разва-

лится. Деньги он хранит в глиняном кувшине. На ногах — какие-то допотопных времен кауши. На голове — замусоленная тибетейка...

Бабушка сердится, бранится. А я убегаю на улицу.

* * *

Я влетаю во двор, запыхавшийся, взволнованный.

Бабушка сидит за прялкой. Мать склонилась над шитьем, разложенным на коленях.

— Мама, мама, вот интересно!..

— Что такое?— спрашивает мать, не отрываясь от работы.

— Старая учительница сидела, читала коран, а одеяло под ней вдруг как вспыхнет, как запылает! Учительница вместе с Султаном-ака еле-еле затушили. Ух и здорово горело!— захлебываясь, говорю я.— Я сам видел, с крыши. Учительница говорит, это джины и пери подбросили огня. А Султан-ака, знаете, нахмурился, намекнул что-то на Ядгар. Пери, говорит, иногда к нам заявляются, это, говорит, их проделки.

Мать переглянулась с бабушкой.

— Чудно,— пожимает она плечами.— Говорят, Ядгар водится с пери, не знаю... И джины будто бы дружат с Ядгар. Как-то штора на окне у них ни с того, ни с сего вспыхнула вдруг. Однажды Султан-ака возвращался вечером с молитвы домой, только переступил порог калитки, как вдруг— трах! — кто-то треснул его по лбу. Оглянулся он, кто бы, мол это? Нигде никого не видеть. Короче, разговоров всяких много. Говорят, это проделки джинов, мне не раз приходилось слышать об этом от соседей.

— Бе!— машет рукой бабушка.— Я тоже слышала, да что-то не очень верю.

В это время во двор врывается Сара Длинная.

— Вай-буй!— выкрикивает она на ходу.— Что такое? Уши заложило вам, что ли, замстило, что ли?! Чудно! Во всем квартале переполох, учительница чуть не сгорела, а они сидят себе, шитьем занимаются!— Возбужденная, запыхавшаяся, Сара Длинная тут же плюхается на край террасы.

— Слыхали уже,— досадливо поморщившись, отвечает ей бабушка и продолжает равнодушно:— Огонь — штука опасная. Да сохранит аллах от бедствий наводнения, от бедствий пожара.

А Сара Длинная, скривив губы, заговорила так, что язык не успевает поворачиваться:

— Это не иначе, как проделки пери. Бой-бой-бой! Не угодишь им, жизни не будет от них! Только расставшись с невесткой, и смогут они избавиться от всех этих страстей. И учительница, и Султан...— Сара Длинная переходит на шепот:— Да и муж Ядгар, Эшбай, такой бездельник, день и ночь в чайной с уличными парнями анашу курит. Вот и не пришлось по нраву пери. Как-то раз, когда Эшбай спал, задавая храпака на весь дом, пери надавали же ему звонких пощечин!..

* * *

Есть у меня товарищ, по имени Тургун. Мы с ним ровесники и закадычные друзья. Он порядочный хитрец и не отличается постоянством, но зато у него много и хороших качеств. Он ловок, сообразителен, боек на язык. В нашем квартале он поселился недавно, но мы с ним быстро подружились.

— Друг,— сказал он мне однажды,— я был на базаре, барабанов там столько — глаза разбегаются. Я купил бы, да отец бранится: какой, говорит, там тебе барабан при нашей бедности? Ругается: я, говорит, нищий штукатур, а у тебя все помыслы о барабане. Ни к чему это! Все мои надежды на барабан оказались напрасными.— Тургун горестно покачал головой:— Эх, барабан, барабан!

Отец Тургуна штукатур, хилый болезненный человек. Большею частью сидит без дела. Это был один из многих бедняков, влачивших жалкое, полуголодное существование.

— Когда мне приходится бывать на базаре, я почти все время верчусь около продавцов барабанов,— невесело говорит Тургун.— Слушаю, как они играют. А иногда попрошу: «Мулла-ака, дайте и мне сыграть».

Я и сам, когда бывал на базаре, заглядывался на барабаны и бубны. Поэтому сочувствую Тургуну, спрашиваю:

— Слушай, Тургунбай! Неужели отец так и не даст тебе денег на барабан?

— Э-э!— Тургун безнадежно машет рукой.— Умоляю, плачу — все без пользы. Барабан, он здесь у меня, в сердце!— говорит он, ударяя себя в грудь. И, помолчав с минуту, продолжает с горькой усмешкой:— Отец у меня до смерти скуп, тугой, как камень. Как-то говорит мне: «Лад-

но, куплю тебе барабан, только потерпи немного, терпение — золото». Наобещал, наполнил пазуху пустыми орехами, как говорят, на том все и кончилось.

Я бегу домой. Мать с сестренкой ткали тесьму.

— Мама, мама! На базаре уйма барабанов. Гремят звонко, играть на них просто... Купите мне!— Я прильнул к матери, принялся упрашивать:— Барабан — редкостная вещь, на нем что хочешь можно сыграть. Люблю барабан!...

Мать даже головы не подняла от работы. Спрашивает устало:

— Это еще что за прихоть?

— Барабан — забава для уличных парней. Не покупайте!— говорит Каромат, хмуря свои красивые брови.

— Вас это не касается!— сердито возражаю я сестренке и снова пристаю к матери. Плачу, капризничаю.

Только после того, как мать, вскочив, раза два больно стегнула меня прутом, я, потеряв всякую надежду, перестал хныкать.

* * *

Во дворе мечети у хауза мы снова и снова в сотый, в тысячный раз повторяем опостылевшие уроки. У всех пересохло в горле, помутилось в глазах, но в руках дощечки с азбукой, хафтияки, кораны... Навои, Хафиз, Бедиль. Сидим, покачиваясь, и твердим, твердим без конца.

В хаузе квакают лягушки. На ветвях шелковиц шумно ссорятся воробьи. Азбука, стихи корана, газели Навои, Фузули, персидские бейты Бедиля — все это звучит вместе, переплетаясь и перемешиваясь, и над школьной площадкой в воздухе постоянно клубится непрерывный, невообразимый галдеж. Этот галдеж заполняет уши. От него тупеет голова, тупеет слух... А мы, кто — покачиваясь из стороны в сторону, кто — вперед-назад, кто — прикрыв глаза, кто — засмотревшись в чистое небо, твердим и твердим...

Как раз напротив школы, расположившись в ряд, сидят на корточках миршабы. Здесь их канцелярия — участок. Шныряют туда-сюда; одни заходят, другие выходят. Все злые, дерзкие, грубые и, как на подбор, безобразные.

Если учитель хоть ненадолго оставлял нас одних, мы гурьбой бросались на улицу и развлекались, глаза на постоянную суматоху у полицейского участка. Когда мимо участка на резвых иноходцах или на сверкающих лаком фаэтонах проезжали чванливые баи и их сынки, миршабы

дружно вскакивали и подобострастно кланялись им. А бедняки, поденщики, неимущие сами сгибались чуть ли не вдвое и дрожали от страха, боясь гнева и ярости свирепых блюстителей порядка. Я наблюдаю за всем этим и в голове у меня как-то сам собой возникает вопрос: «Почему все миршабы такие злые и вредные? Почему среди них нет ни одного доброго и милостивого к беднякам?..».

Появляется учитель, и мы стремглав бежим в школу.

Один из наших мальчишек, из байских сынков, похвалился мне:

— А я купил новый большущий барабан!— Он показал руками, как велик барабан.— После полудня, когда кончатся уроки, пойдем к нам, поиграем.

— Неужели купил?— недоверчиво спрашиваю я.

— Ну да. Вчера сказал отцу, а к вечеру, смотрю, уже приказчик бежит с барабаном. Денег у нас всегда сколько хочешь. А с деньгами — все можно. Захотел только — раз! — и барабан у меня в руках, — тихонько талдонит байбача.

— Я тоже куплю себе, как только мать получит деньги, — потупившись, не очень уверенно говорю я. А про себя думаю: «Если бы твоя мать долгими ночами при свете плошки сидела за тесьмой, а сам ты ради нескольких серебряных монет бегал по базару, ты бы, пожалуй, не трепал так языком!».

После уроков байбача потащил меня к себе.

На просторном внешнем дворе, вдоль большого шумного арыка, огромный, как луг, цветник. А по сторонам — красивые здания, террасы с резными решетками.

Байбача бежит на внутреннюю половину и возвращается со своим барабаном. Барабан такой — чуть тронул пальцем, отзывается звонким — бом! Байбача берет палочки и начинает беспорядочно колотить по туго натянутой коже.

Я громко хохочу:

— Друг! Играешь ты здорово, только ладу не знаешь.

— А ну, попробуй сам, посмотрим, — подвигая ко мне барабан, говорит байбача.

Играть на барабане я умел немного. Приходилось слышать и видеть, как играют на свадьбах и в праздники, особенно во время тридцатидневного поста, когда на Шейхантауре, на крыше медресе, били в огромный, как котел, барабан. Практика, правда, у меня была небольшая. И вместо барабана я пользовался обычно бабушкиным тазом. Но все-таки я кое-что понимал в этом деле.

— Не знаю, может, разучился уже,— говорю я байбаче, щелкая пальцем по барабану.

— Играй, играй, чего там!— ворчит байбача.

Я задумываюсь, стараюсь припомнить какой-нибудь мотив. Внезапно начинаю выбивать дробь и сам себе удивляюсь: получается!

— Ийе, да ты мастер, оказывается! Наверно, барабанщиком задумал стать?— говорит байбача, выпятив нижнюю губу. И тут же прибавляет, глядя куда-то в сторону:— Ну, хватит. Надоело уже.

Я досадую: только-только припомнил мотив и заиграл уверенно. Псворачиваюсь и молча ухожу со двора.

После этого барабан стал моей страстью, мечтой. Я каждый день пристаю к матери, плачу. Мать и бранила меня, и бить пробовала — ничего не помогало. Первой сжалилась надо мной сестренка Каромат, начала упрашивать мать, и в конце концов мы добились согласия.

В очередную среду мать завязывает в платок вытканную за неделю тесьму, и мы с Тургуном бежим на базар.

На Эски-Джува толкотня, давка. Особенно много женщин с тюбетейками и тесьмой. Торговля идет вяло, но со мной Тургун — озорной, хитрый и ловкий, он перехватывает каждого встречного:

— Купите, дядя! Очень добротная тесьма. Смотрите, какой шелк. А как туго соткана! Мы задешево отдадим, спешить надо, дело есть. Редкостная тесьма, берите, дядя, не ошибетесь!

В конце концов тесьма продана. Я бережно прячу деньги в потайной карман под рубахой, и мы с Тургуном отправляемся к ряду, где продают барабаны.

Каких только нет здесь барабанов! Мы долго ходим, присматриваемся. Под конец намечаем один небольшой барабан, какой подешевле.

Я потрогал барабан. Спрашиваю:

— Мулла-ака, сколько вам за него?

— Три теньги, братец. Очень добротный. Смотри, как натянута кожа — звенит!— говорит хозяин барабана, рябой мужчина.

— Что вы! Не стоит он этого,— говорит Тургун, стараясь сбить цену.— Величиной с льняное зерно, и не гудит, а фукает как-то...— Тургун дергает меня за рукав. Делаю вид, что барабан нам не понравился, мы отходим к другим продавцам.

Раза два так вот уходим и снова возвращаемся. В конце концов нам удается уговорить хозяина уступить. Платим

две с половиной тениги. Попеременно прижимая к груди барабан, бежим на свою улицу. Вокруг нас тотчас собирается толпа ребятишек.

— А ну, друг, оторви что-нибудь самое лучшее!— говорит Тургун, передавая мне палочки.

Я ставлю барабан на землю и выбиваю частую дробь. Ребята слушают, притихли.

— Как-нибудь мы заберемся с барабаном на крышу,— говорит Тургун.— Мусабай будет играть, а вы слушать и радоваться. А сегодня довольно.

— Ха, новая причуда!— говорит Сара Длинная, высунув голову из калитки.

— Теперь у всех ушные перепонки полопаются. От этого озорника никому житья нет,— сердито пищит из своей калитки Сара Короткая.

* * *

Дядя Эгамберды кое-как держался некоторое время, но в конце концов болезнь одолела его, и он слег. Бабушка и особенно дед сильно волновались. А тетка, жена дяди, постоянно печальная, невеселая, копошилась еле-еле — всякая работа валилась у нее из рук.

Дядя то лежит, вытянувшись, то сидит, прислонившись к стене. Иногда, если здоровье чуть улучшится, немного пошутит, посмеется. Он осунулся, побледнел и похудел.

Дед одного за другим приводил табибов-лекарей, молодых и старых. Заставлял дядю принимать всякие лекарства, всевозможные травы. Но все это не помогало.

Я навещаю к дяде по несколько раз в день.

— А, заходи, заходи, племянник, — говорит дядя, подзывая меня к себе.

Иногда я задерживаюсь лишь на минутку, а иногда просиживаю около него часами. Мне нравится беседовать с ним.

— Как раз самая пора ловить перепелок подходит, племянник,— говорит дядя.

Я вижу в его глазах туман печали и страданий, тихонько вздыхаю. А дядя мечтает:

— Вот поправлюсь я, закатимся мы с тобой в степь. Всех перепелок силками подчистую переловим.

— Вот хорошо бы!— повеселев, подхватываю я.— Поправляйтесь скорее.

Дядя был большим любителем перепелок, очень умело воспитывал их, старательно ухаживал за ними. Постоян-

но высматривал мокриц, мух, доставал обрезки мяса, пчелиные соты с деткой и много всякой всячины. «Дядя твой — покровитель перепелок!» — тихонько шептали мне ученики и подмастерья.

Раньше, если ему удавалось заполучить нового перепела, он приглашал меня в комнату, таинственным шепотом приказывал закрыть двери, окна. Я тотчас исполнял его волю и тихонько подсаживался к нему.

— Голос подал, слышишь, племянник? Хорошо, а? Силен перепел! — искренне радовался дядя.

Побрызгав водой крылья перепелу, он бережно прятал птицу в рукав и отправлялся в чайхану. Если же перепел вырывался, пытался бежать, отдавал его мне. Смеялся:

— На, возьми. Это как раз по тебе птица.

Я сильно горевал, замечая, что дяде становится хуже. Высокий, ладный, большеглазый, с широкими сросшимися бровями, красивый, лежит он теперь в постели, пожелтел, осунулся, высох, как спичка. Я сижу рядом, притих, смотрю на него с жалостью. Дядя чуть слышно шепчет, не открывая глаз: «Одолела меня хворь... Одолела...». Чтобы скрыть невольные слезы, я бросаюсь на улицу.

На улице я скоро забываюсь. Неподалеку от нас жил бай, круглый, как шар, тучный человек с белой бородой и с огромным — арба мяса — животом. Вместе с выводком байских ребятишек я вхожу на просторный двор. На внешней и на внутренней половине двора роскошные, крытые железом дома. В комнатах всюду ковры, никелированные кровати, множество сундуков с разным добром. Меня подвели к какому-то блестящему новому ящику с большущей трубой. Один из мальчишек покрутил ушко сбоку. На ящике быстро-быстро завертелась черная плоская тарелочка, а из трубы вдруг зазвучала музыка, а потом кто-то вроде запел по-русски. Я ни слова не понимаю, но слушаю с интересом и с удивлением. Что за чудо?! Потом спрашиваю тихонько:

— Колдовство, что ли, тут? Как эта штука называется?

Ребята хохочут.

— Это граммофон. В Ташкенте таких вещей нет, отец из Москвы привез недавно, — поблескивая глазами, говорит один мальчишка. — Весь секрет в тарелочках, это они играют. — И тут же останавливает граммофон. — Ну, хватит, в другое время послушаешь.

«Вот бы потрогать его, — думаю я про себя. — И еще послушать бы!..».

Наступили мягкие, сентябрьские дни: пора созревания фруктов, арбузов, дынь. Но мне малодоступно все это. Денег у нас — не густо... Нет денег... Проходя мимо лавок, я лишь издали поглядываю на фрукты.

Отец приезжает редко. Иногда пропадает по полгода. Если появляется, то на несколько дней, и затем снова исчезает надолго. «У нас много долгов...» — чтобы как-то утешить себя, думаю я с горечью.

После школы мы, мальчишки, каждый день шатаемся по улице. Время от времени все увлекаемся какой-нибудь игрой. Я, например, стал мастером игры в ашички. А Ходжи и меня обскакал. По этой части мы с ним в квартале первые. Каждый день после полудня, а по пятницам и с утра до вечера, у нас только и забот, что ашички. Обыграв всех мальчишек нашего квартала, мы вдвоем отправляемся или к Балянд-мечети или же в квартал литейщиков. Потихоньку перешептываясь, мы и там обыгрываем всех подчистую и внезапно уходим. Мальчишки с криком бегут за нами. Если догонят, начинается драка. Но мы и в таких случаях не теряемся.

Девушки, ровесницы Каромат, играют у нас во дворе в мяч. Девушки всегда ищут для своих игр место поспокойнее, где нет взрослых джигитов, стариков. А наш двор как раз такой, подходящий для них.

— ...четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...

Играет Саломат — рослая девушка с крепкими руками и с широким открытым лбом, живущая по соседству. Метнув мяч в стену, она быстро поворачивается кругом, ловит отскочивший мяч и тут же снова бросает его.

— ...семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать...

От сильного удара мяч метнулся высоко и улетел в дальний угол двора, угодив в арык. Хозяйка мяча вздыхает, согнутым указательным пальцем смахивает пот со лба и присаживается на край террасы.

Пошумев и поспорив: «Мой черед! Нет, мой!» — девушки продолжают игру.

Большая часть собирающихся у нас девушек живет бедно. Мячи они скатывают из ваты, а чаще — чтоб был

легче — из шерсти, а потом туго-натуго обшивают их разноцветным шелком. Если такой мяч шлепнется в арык, он тотчас набухает и тонет в воде. По этой причине девушки играют очень осторожно.

Играет Таджи — тоненькая, стройная, симпатичная такая девушка с искристыми глазами, изящным, как фисташка, носиком и с бесчисленным множеством косичек, спускающихся до колен. Она бросает мяч и кружится все чаще и чаще. Долго, очень долго кружится.

— А ну тебя! Привязалась к мячу. Все равно отстала, лучше передохни, — сердито взглянув на Таджи, говорит коротышка Саври.

Таджи не уступает и в свою очередь подкусывает Саври:

— Ты только и знаешь — язвить. Посмотрим, кто кого!..

Споры, ссоры и обиды то и дело возникают среди играющих. Когда становится невтерпеж, выступает их «матка», тараторка Салам, болтливая всезнайка. Она мирит: одну побранит, другую обманет, третью утешит чем-нибудь. И игра возобновляется. Играют они с искренним увлечением, до пота, до яркого, как тюльпан, румянца на тугих щеках.

Сестренка моя Каромат и в красоте, и в веселости, и в ловкости не уступает подругам.

Мне нравится наблюдать за их игрой, слушать их шутки и даже взаимные препирательства.

— Сгинуть тебе! Даровое представление для тебя тут? А ну, вставай, подавай нам мяч! — резко вскинув головой, приказывает мне Салам.

Я с одного прыжка ловлю мяч, забрасываю его на крышу и бросаюсь наутек.

Устав от долгой, часами продолжающейся игры, девушки усаживаются рядом на краю террасы и начинают разговор. У них всегда есть чем поделиться, над чем посмеяться, о чем посеCRETничать. Шепчутся, шепчутся тихонько и вдруг захихикают. Меня разбирает любопытство. Они негромко поют песни, читают на память газели. Говорят о любви, увлечениях, чаще всего намеками. Рассказывают друг другу о том, что приходили сваты, порой радуются, порой умолкают, погрустневшие, печальные.

Когда сгущаются сумерки, девушки расходятся по домам, кто прикрывшись паранджой, а кто просто легким халатом.

Часто девушки и молодые женщины приходят к нам вечерами, прихватив с собой свои рабочие сумки. Это у же

вошло в обычай. Занимаясь шитьем тюбетеек или вязанием тесьмы, участницы посиделок ведут веселые разговоры, часто перемежающиеся громким смехом. Поют песни. А иногда рассказывают сказки.

Прикорнув в сторонке, я радуюсь случаю, слушаю, притихший. Когда сказка кончается, упрашиваю: «Еще, еще какую-нибудь хорошую зачните!». Бывает, что я резко прерываю только что начатую сказку: «Другую давайте! Эту я слышал уже, знаю».

Такие посиделки, особенно в зимнее время, часто затягиваются до полуночи.

* * *

Мы с Тургуном спешим на базар. Я в длинной рубаше, в новой тюбетейке, босой. В поясе у меня крепко-накрепко завязаны сорок копеек серебром и медяками.

Время — близко к полудню. Небо облачное. Солнце то блеснет на минутку, то снова скроется в облаках.

— Книжки, они дорогие очень...— осторожно намекает мне Тургун.— Лучше бы купить чего повкуснее...

— Нет-нет!— возражаю я, сразу разгадав, куда он клонит.— Это хорошая книга. Вот погоди, в ней есть такие стихи!.. Э, да ну тебя, не понимаешь ты...— И помолчав, продолжаю уже спокойнее:— Мороженое, конечно, штука вкусная, да боюсь матери. Деньги дали на книгу.

Протискиваясь в толпе, лавируя между арб, лошадей, ишаков, мы добираемся до книжных лавок. Здесь, в книжном ряду, тихо. Лишь изредка увидишь листающего книгу студента медресе в длинном легком халате и в грязной замусоленной чалме, тощего, бледного, обросшего.

Мы с Тургуном не раз и не два обходим весь ряд, оставаясь у каждой лавки. Неожиданно взгляд Тургуна задерживается на стае собак, сцепившихся на крыше.

— Эх, жалко!— говорит он, подталкивая меня в бок.— Откуда бы нам взобраться на крышу? Вон сколько их там. Выбрали бы и увели какую получше...

— Да ты сдурел?!— сердито возражаю я.— Они же разорвут нас!

Лавки полны религиозными книжками. В каждой обязательно есть коран. Много арабских, персидских книг.

— Дядя, нет ли у вас Мукими?— спрашиваю я, остановившись у одной лавки.— Стихи о любви...

— Хо!— с мягкой улыбкой говорит продавец книг, об-

ходительный и ласковый седой старичок.— Молод ты еще. Мал, сын мой. Но Муками есть.

— Я читаю всякие книги,— поясняю я,— а эта девушкам понадобилась. Они любят читать Муками. У него есть хорошие стихи, дядя.

Старик хохочет. Потом неторопливо встает, начинает рыться на полках. Долго ищет. Наконец подает мне сборник.

Это небольшая книжка, хорошо оформленная, в красивой обложке. Я бережно беру ее, осторожно перелистываю. Шевеля губами, шепотом читаю про себя.

— Отец, сколько она стоит?— спрашиваю, закрыв книжку.

— Ничемная книжонка... Зачем она тебе? Идем!..— незаметно подталкивая меня локтем, шепчет Тургун.

Я тоже шепотом сердито объясняю:

— Муками — замечательный поэт. Ты же неграмотный, не понимаешь. А мать наказывала, чтоб я обязательно нашел эту книгу.

Старик смеется, добродушно щуря глаза:

— Твоя правда, сын мой. Хорошая вещь. С глубоким смыслом. Я встречал Муками. Приятного нрава, мудрый человек был покойник. В Коканде жил он. Большой поэт. А эта книга — кусочек сердца поэта. Цена ей две тениги, сынок. Бери, это бальзам для девичьего сердца.

«Сестренка как раз дала две тениги, значит, она знает цену»,— отметил я про себя. Я осторожно развязал поясной платок, с поклоном вручил деньги хозяину. А книжку сунул за пазуху.

Выйдя с базара, мы присаживаемся на корточки на берегу канала, черпаем пригоршнями воду и пьем. Потом идем дальше. Я замедляю шаг и начинаю читать про себя, тихонько переворачивая страницу за страницей. А Тургун сердится, кричит:

— Э, если хочешь читать, читай вслух или идем быстрее!

Я смеюсь, не отрывая глаз от книги. Читаю негромко:

Черным-черны и без сурьмы блестят твои глаза,
Любой восторженной душе грозят твои глаза.
Все соловьи поют тебе, хваля твой тонкий стан,
Лишь Муками один поет сто крат твои глаза!

— Ну как, понял, друг? Эта газель, сладкая, как песня, полна глубокого смысла.

— Мне она тоже понравилась. Только, купив рыбы, мы наелись бы досыта, а от этого стишка какой толк?— машет рукой Тургун.

Я не слушаю его, все мое внимание поглощено книгой.

* * *

Солнце уже не жжет. Все чаще по небу проплывают облака. Начали опадать листья. И птицы уже, стая за стаяй, улетают в теплые края.

Меня одолевает забота: нет ичигов, калош. Скоро начнутся холода, неужели, думаю, придется ходить в школу босиком? От отца нет никаких вестей. Я уже и письмо писал. Молчит.

Мать, бедная, идет с жалобой к бабушке.

— Отец твой,— говорит бабушка,— тоже скуп, но, если попросишь, поплачешься, думаю, не откажет в паре ичигов. А вот с калошами — беда. Как-нибудь уж сама добудешь. Не успеешь оглянуться, холода настанут, так что ты уж торопись, позаботься о сыне.

Когда приходит дед, мать исподволь, мягко заговаривает с ним насчет ичигов. Дед хмурится:

— О, доченька, терпи, довольствуйся тем, что есть. Как говорят: у кого есть — по достатку, у кого нет — по возможности. Расходов у меня и без того по самую макушку.

— Отец, милый, к кому же мне и идти со своим горем, как не к вам? Зять ваш скитается где-то в степи. Котелок тем только и кипятим, что тесьмой добуду. Вы обязательно должны сшить ичиги Мусабаю.

Дед не отвечает, задумывается ненадолго. Потом медленно встает, уходит куда-то и немного времени спустя возвращается, улыбающийся, с парой ичигов в руках:

— Вот, мой мальчик, надевай. Добрые ичиги...

— Ну, носи на здоровье,— говорит обрадованная мать.

Крепко прижимая к груди ичиги, я бегу домой. Дед смеется мне вслед:

— Обрадовался!..

Наутро от отца неожиданно пришли деньги. Мы сразу же отправились на базар и купили калоши.

* * *

Однажды в полдень перед концом занятий учитель позвал меня к себе и говорит:

— Ну, идем, сын мой. Ты уже большой стал, с нами вместе будешь читать молитву о вспомоществовании. Есть тут одна больная...

— Что вы?!— Я покраснел, потупился.

Учитель оглядел меня и, видимо, догадался о причине моего смущения.

— М-мм...— проговорил он задумчиво.— Ну что ж, беги тогда приоденься. Было бы чисто, и довольно.

Я стремглав бегу домой.

— Мама, быстро! Где моя чалма?

— Что такое?— не понимая, спрашивает мать...

— Мы молитву, молитву идем читать, о вспомоществовании!— Я торопливо надеваю стеганый ватный халат, новые ичиги с калошами. Срывая с колышка бабушкин кисейный платок, кое-как наматываю его на голову и бегу в школу.

В школе уже собралось с десяток мальчишек-подростков пятнадцати-шестнадцати лет. Я оказался самым маленьким среди них. Ребята при виде меня зашептались. Учитель догадался и пошутил:

— Он хоть и мал, да удал, вам не уступит.

Я краснею и отворачиваюсь в смущении.

Все мы во главе с учителем молча выходим на улицу. Сворачиваем в переулок и тут же натываемся на свалку: какие-то мужчины наскакивают друг на друга, тузят кулаками.

Учитель останавливается. К нему подходят старикки.

— Разведите, разведите их, почтенный!

Учитель бледнеет от гнева.

— Стой, стой!— кричит он.— Побойтесь аллаха, невежды!

Участники драки смущенные расступаются: у кого ворот разодран, у кого рукав чуть держится.

— Простите! Простите, почтенный!..

— В чем дело? Из-за чего скандал?— спрашивает учитель, еще не остывший от гнева.

Старикки поясняют:

— У одного бедняка подошел срок долгу, и он решил продать дом. Из-за дома и скандал. Нашлись люди с достатком, и тому хочется взять, и другому завидно...

Вскоре мы входим в угловой двор по левой стороне переулочка. Навстречу нам выбегает небольшого роста обходительный человек лет тридцати пяти-сорока. Больная лежит на просторной красивой террасе. Хозяин дома, сорвав с колышка большую шаль, торопливо прикрывает ею лицо больной. С поклоном показывает на разостланные одеяла:

— Пожалуйста, господни мой!

— Как ваша супруга? — спрашивается учитель, снимая кауши.

— Ей день ото дня все хуже, почтенный, — шепчет хозяин. — Может, после молитвы о вспомоществовании голову поднимет.

— Коран — слово божье. Молитва о вспомоществовании может сотворить чудеса, она и злых духов изгоняет. Да исцелит ее сам аллах! Душа, если она не отлетела, всегда таит в себе надежду. Неверие и отчаяние — от дьявола.

Учитель садится, скрестив ноги.

— Ну что ж, начнем! — говорит он, обращаясь к нам.

Мы рассаживаемся вокруг него на мягких одеялах и начинаем читать соответствующую суру корана.

Я украдкой приглядываюсь ко всему. Хотя двор был маловат, дом и терраса были уютные и напоминали изящную шкатулку. Крыша железная, столбы и наличники крашенные. Во дворе много цветов. Маленькая девочка, с трудом поднимая ведро, несла воду на кухню. На кухне какая-то старуха топила в большом казане курдючное сало. Аппетитный запах выжарок распространялся по всему двору.

Мы все читаем в один голос, торжественно и нараспев. Учитель время от времени дует на большую: «Суф!» Одновременно и мы все разом чуть наклоняемся в ее сторону. Читаем долго, все устали. Только у учителя голос остается чистым и ясным, усталости у него совсем не заметно.

Чтение продолжается ровно два часа. Закончив, мы все вздыхаем с облегчением: «Ух!» А учитель сидит важный и строгий.

— Воды... — чуть пошевелившись, тихонько шепчет больная.

Хозяин торопливо протягивает ей пиалу воды. Потом, сложив руки на груди, говорит, обращаясь к учителю:

— Прошу, почтеннейший! Прошу в дом.

Все мы во главе с учителем проходим в дом. Учитель садится на почетное место. На одеялах разложены мягкие подушки. Комната красиво убрана. Рядами стоят сундуки, в нишах много разной посуды. Напротив входа по углам стоят две чудесные китайские вазы. Все мы молча любуемся ими.

Учитель поинтересовался, что это за вазы. Бай чуть приметно улыбнулся.

— Покойный родитель наш привез их из Кашгара. Я

тогда еще молод был. Очень редкостные вазы,— сказал он с гордостью.

Расстилается скатерть. Появляются мягкие лепешки, сладости. Вносится бурно кипящий самовар.

— Берите, берите! Кушайте,— приглашает бай учителя и нас.

Наш подслеповатый чтец корана основательно налегает на сладости. А я стесняюсь, веду себя очень сдержанно.

Появляется жирный, обильно приправленный мясом плов. Учитель с аппетитом принимается за него, приглашая и нас.

— Берите, дети, берите! Очень вкусный плов получился. Такой плов, что во всех семи поясах земли не найти равного ему.

Тут мы тоже налегаем на плов. Потом пьем крепкий-крепкий чай. После этого учитель поднимает руки: «Омин!»— и долго читает всякие благожелания хозяину. Мы прощаемся и уходим.

К учителю частенько приходят посетители, кто с чашкой, кто с пиалой. Просят его:

— Господин! Напишите молитву на этой пиале.

У каждого своя причина: у одного «больна дочь», у другого «невестка прихворнула», у третьего «жене занеужилось». Учитель, не откладывая, тут же в классе приступает к делу.

— Молитва,— говорит он,— от всех недугов и затруднений средство. Пророк наш сказал: «Молитва исцеляет от любой болезни».

* * *

Мы, ребята, вечерами, не зная устали, играем на улице. А как только стемнеет, сразу же, словно птицы по своим гнездам, скрываемся по домам. Я тоже боюсь оставаться один и бегу домой вместе с товарищами. Наши бабушки и матери уверяли, что после часа вечерней молитвы на берегу Почча-арыка, у большой проточной воды затевают свои игрища джины и прочая нечисть. Джинны будто принимают обличье кошек с огненной шерстью, коз, волков и тому подобных тварей. Если джин, выбираясь из какого-нибудь потайного закоулка, заденет хвостом человека, случайно попавшего навстречу, то человек этот обязательно или припадочным станет, или полоумным, или его парализует, одним словом, на него обязательно нападет какая ни есть хворь. Чтобы умилостивить джинов, старухи, женщины обычно оставляли вечерами на берегу арыка

горсть рисовой каши с мясом или просто каши. О проделках джинов среди женщин квартала ходило много всяких рассказней: «Перед таким-то джин пробежал в обличье кошки!», «Такой-то видел, как мимо огненный ком промчался!» Поэтому, когда мне случалось запаздывать, я с замирающим сердцем старался как можно быстрее миновать Почча-арык.

Джины собирались будто бы и вокруг хауза во дворе мечети. Площадка, где стояли арбы нашего квартала, тоже считалась опасным местом. Говорили, что джины до самого рассвета забавляются здесь, раскачиваясь на оглоблях. Проходя мимо этих мест, я тоже припускал со всех ног от страха.

Росказни о джинах и пери никогда не затихали в нашем квартале. Поэтому бабушка даже отца бранила, если случалось, что он возвращался домой поздно: «Шальной какой-то! Шляешься до полуночи по чайным. Как ты не боишься джинов?» Отец посмеивался: «Джинам до меня никакого дела нет,— говорил он.— Они знают, кого им задеть. Люди твердят «джинны, джины», а я дожил до таких лет и ни разу даже тени джина не видел». Бабушка испуганно махала руками и шептала на ухо: «Сейчас же скажи: «Помилуй, аллах!»— и сама читала молитву об избавлении.

Днем мы, мальчишки, иногда скуки ради рассказываем друг другу разные страшные истории о джинах и пери. Особенно много сказок о джинах знал Агзам. Он и сам верил в них и очень боялся. Ахмад высмеивал его:

— У меня бабушка по разным своим делам уходит надолго и днем и ночью. Я остаюсь один в пустом доме и ничего никогда со мной не случалось. Хоть бы раз, думаю, показались, посмотреть бы — какие они, джины. Нет, не показываются. Бывает, правда, и мне становится чуточку боязно, тогда я натягиваю на голову одеяло и стараюсь поскорее заснуть.

Я тоже часто думал о джинах и пери, пытался представить их, и мне казалось, что перед глазами мелькают какие-то страшлища. Иногда на улице или дома, если я оставался один, будто слышал чьи-то шаги, какие-то шорохи. Лишь много позже, когда я повзрослел, если заговаривали о джинах, я посмеивался, как отец.

* * *

На улице пылает костер. С треском горят тополевые и урюковые поленья. Это — проводы месяца сафар, второго

месяца лунного года. По местным поверьям именно в этом месяце на людей обрушиваются всякие бедствия — засухи, наводнения, смуты. С наступлением месяца сафар прекращались все свадьбы. «Месяц сафар,— говорили старухи,— месяц напастей и несчастий, месяц забот и печалей».

Вокруг костра собралась толпа женщин. Какие помоложе — в паранджах или в накинутых на голову легких халатах, старухи расхаживали с открытыми лицами. У костра шум, гомон, крики. Ребята шалят, озорничают, один кружит над головой зажженной камышиной, другой швыряется горящими углями.

Распоряжаются: учительница, Сара Длинная и Сара Короткая. Бабушка, строгая и печальная, стоит у костра.

— А ну, ребята, быстро найдите какую-нибудь собаку! — с озабоченным видом говорит Сара Короткая. — Кадыр пообещал найти, да вот запропастился куда-то.

Ребята в один голос кричат:

— Сейчас он явится! Приведет собаку!

— Тургун, подойди-ка ко мне! — говорит Сара Длинная. — У нас есть собака, веди ее сюда!

— Да, таков обычай, таков обряд,— говорит бабушка, как бы рассуждая сама с собой.

— Положено хорошенько поколотить собаку и заставить ее перепрыгнуть через костер,— строго хмуря брови, с видом знатока говорит Сара Короткая.

Костер горит, как положено, пламя взметывается высоко, под самые небеса. Неожиданно появляются Кадыр, Агзам, Махкам и Ахмад. Запыхавшись, они тащат полудохлую дворнягу, пойманную где-то в квартале Ак-мечеть. Собака тощая, кости выпирают, ребра можно пересчитать, шерсть свисает с нее клочьями.

— Бе, тоже — нашли! — говорю я насмешливо. — Старая, сама скоро околет. Бездомная, все время шлялась тут.

— И правда, она забегала иногда. Совсем отошала, бедняга,— говорит мать с жалостью. И умоляет Сару Длинную: — Вы для порядка только слегка побейте ее, жалко беднягу. Это самая несчастная из собак.

А ребята и слушать не хотят:

— Будем бить как положено! До смерти забьем!

— Убить, убить непременно! — говорит какая-то престарелая женщина. — Как можно не убить собаку при изгнании месяца сафар? Только этим и можно отвести джинов, пери и всякие напасти.

Шум, гвалт усиливается. Ребята, с криком, с визгом

начинают прыгать через костер. Собака испуганно пьтится от огня, скулит, дрожит, как в ознобе. В глазах ужас, поглядывает на всех, словно умоляет сжалиться.

Мальчишки и женщины с криками бьют собаку, чем попало, понуждают ее перепрыгнуть через костер. На глазах у бедняги выступают слезы, но мальчишки подталкивают ее в огонь, кричат: «Сафар бежал! Сафар бежал!» Мать умоляет женщин: «Довольно, довольно же! До смерти забили беднягу!» Собака вдруг прыгает через огонь с краю костра и, не переставая скулить, убегает в сторону квартала Ак-мечеть. Мальчишки бросаются в погоню. Тем временем молодые женщины начинают прыгать через костер. А старые стоят вокруг. Все женщины глубоко верят в приметы, в старые обряды, обычаи. Особенно чтит их Сара Длинная. Она чувствует себя распорядительницей, полна энергии. Мне нравится прыгать через костер. Я прыгаю вместе с женщинами.

Мальчишки возвращаются, так и не поймав собаку.

— Жалко, упустили из рук!— с досадой говорит Махам.— На этот раз не все получилось как следует.

— Ничего,— говорит учительница,— выполнили ведь что положено. Собака — щит от всякой нечисти, вы до смерти забили ее, этого довольно.

Женщины потихоньку расходятся. А мы еще долго играем, разбрасывая пепел и угли.

Такие ночи, напоминавшие игрища джинов, до сих пор сохраняются в моей памяти и встают передо мной, возникая из далекого прошлого.

* * *

Осень. Отец приехал из Янги-базара. Втроем они — бабушка, отец и мать — вечером долго шепчутся о чем-то. Я сижу в сторонке, прислушиваюсь. Каромат вышивает тюбетейку в старой кладовке. Иса рассказывает ей что-то.

В небе тускло поблескивает из-за туч луна. На террасе еле-еле мерцает огонек чирака. Под сандалом горячие угли — на дворе уже прохладно.

— Скоро сыграем свадьбу,— говорит отец, чуть приметно улыбаясь и бросая под язык щепоть насвая.— Дядя срочно вызвал меня письмом. Думается, это подходит нам.

— Говорят, если нашел ровню, отдавай задаром. Турабджан — смирный и разумный молодой человек, хороший добытчик, если не за него, то за кого же и отдавать нам. Я давно пообещал ему, мол Каром будет твоей, зна-

чит, надо стоять на слове. У них и сад за городом...— говорит бабушка, видно, довольная.

— Верно, верно,— соглашается отец,— он по душе мне.

Мать сидит невеселая, молчит. Отец поворачивается к ней, спрашивает:

— А ты как? Тебе нравится он? Почему ты отмалчиваешься?

— Что ж, вам лучше знать. По мне он тоже хорош, только... отовсюду много сватов приходит. И из родни тоже кое-кто намекал. Турабджан, он разумный джигит, да...— Мать запнулась.— Очень уж черный он, как эфиоп... Решать судьбу — дело трудное, не худо было бы и Каромат спросить. Ровня с ровней, говорят, а кизяку место в куче.

Бабушка и отец бледнеют от гнева.

— Что за глупость?!— ворчит отец.

Морщинистое лицо бабушки еще больше мрачнеет. Сердито звякнув четками, она сует их в рукав. Говорит с досадой, выпячивая губы:

— С ума ты, видно, сошла, Шаходат! Каром ведь согласна. Да мы и не станем смотреть, согласна она или не согласна, все равно отдадим ее за Тураба.— И насупившись, поворачивается к отцу:— Давай людям ответ! Знаешь пословицу: чем зерно за облаком, лучше солома да под боком.

— Ладно. Значит, такая ее судьба,— говорит мать, печально опуская глаза. Она умолкает и больше не произносит ни слова.

Наутро отец отправляется к старшему брату Умару. После долгих переговоров устраивается сговор. Видный из себя смугловатый, всегда принаряженный, дядя Умар весело смеется, довольный.

— Готовься, Таш! Я сам в голове стану. О всяких там выплатах-кладке посветуемся потом. Старики говорили: свадьба по доброму совету никогда не будет нарушена.

Отец скромно опускает глаза:

— Что вы скажете, так тому и быть,— говорит он.

* * *

Вскоре после этого с узлами и узелками к нам заявись разнаряженная тетка. Опустившись на одеяло, она начала с длинного ряда благопожеланий:

— Пусть Каром будет счастливой! Пусть высоко стоит звезда ее счастья! Пусть куча детишек окружит ее. Внуков-правнуков дождаться ей!

Бабушка благоговейно проводит руками по лицу:

— Да сбудется по вашему слову! Да сбудется по вашему слову, милая! Добро пожаловать!

Собрались женщины из соседних дворов, на террасе шумно. Бабушка вне себя от радости, настойчиво угощает соседок: «Берите, берите, милые! Кушайте!» Мать тоже старается казаться довольной, улыбается молча, но на душе у нее какая-то тайная печаль.

Женщины стрекочут, перешептываются:

— Значит, высоко стоит звезда счастья Тураба, вон какую девушку берет, что ясная луна! — говорит старуха-соседка.

— Жених тоже и тихий, и смирный, и разумный. Черненький, миленький такой парнишка! — перебивает старуху тетка.

Я слоняюсь по двору, прислушиваюсь к разговорам женщин, толкусь у котла. Потом иду в кладовку. Пригнувшись у низенькой дверки с чуть приоткрытыми створками, Каромат шьет тюбетейку. Я смеюсь про себя: «Это же она для жениха шьет!» Спрашиваю весело:

— Сестрица, зачем вам работать, ведь свадьба уже? Лучше я принесу вам сдобных лепешек.

Каромат промолчала, потом вздохнула и грустно сказала:

— Перестань, не поддразнивай! Есть я не хочу.— А после минутной паузы продолжала негромко:— Такова воля неба, судьба моя такая, видно, Мусабай. Много горя-печали у меня на душе, на сердце. Очень много, а вот средства от него нет. Это и называют судьбой...

От ее слов у меня больно заныло сердце. Я ничего не сказал, стрелой метнулся к двери и выбежал на улицу.

Не прошло и недели, как настал день свадьбы. Собрались жители квартала, родственники. На девичник сошлось много девушек. Под аккомпанемент дутара они спели несколько песен, а потом, поспорив по обыкновению: «Выходи ты! Нет, ты выходи!» — начали танцевать.

Наутро был совершен обряд бракосочетания. День прошел в обычной суматохе, в шуме-гомоне. Как и на всякой свадьбе. Дом жениха был близко, через улицу, калитка в калитку. Женщины квартала, родственники — одни со слезами, другие со смехом запели свадебные частушки:

Краса стремительной реки —
Утесы скал, яр-яр!

А брови девушки моей
Краше похвал, яр-яр!

Что ни надень, то и пойдет
К твоим глазам, яр-яр!
На свадьбе надо песни петь —
На то байрам, яр-яр!

Валят к нам валом женихи —
Все стук да стук, яр-яр!
А ровню дочери моей
Найдешь не вдруг, яр-яр!

Эй, песня, свадьбу украшай!
И радость пой, яр-яр!
Девичья свадьба, как цветок,
Как луч весной, яр-яр!

Не плачь же, девушка, не плачь,
Пир этот твой, яр-яр!
И, словно золотой, блестит
Дом этот твой, яр-яр!

И вот, сестренка моя Каромат уже молодая женщина, невестка в чужой семье.

Помнится, прошло два-три дня. Отец, хмурый, то и дело закладывая насвай, сердито заговорил с бабушкой и с матерью:

— Расход большой понесли — и все так, попусту. Опять мне пришлось товару в долг взять. Никак не вылезти из забот бедной моей голове. Правду говорил покойный отец: «Пусть будет горе-печаль, только долгов не было бы!»

На следующий день с рассветом отец уехал. А в доме пустым-пусто, ничего не осталось кроме пригоршни муки на дне мешка.

* * *

Из школы я вернулся вялый, с ощущением противной слабости во всем теле и с нездоровым горячечным румянцем на щеках. Взойдя на террасу, я тут же свалился на подушку.

Ко мне подбежала мать.

— Вай, помереть мне, что с тобой?— Она потрогала мой лоб.— Ох, да он горит весь!

— А ну тебя, с твоими страхами, Шаходат!— заговорила бабушка, спокойно перебиравшая четки.— Озорной он, милая, этот твой сын. По крышам, по дувалам шастает, вот и притомился, наверное. А если жар поднялся, лучшее средство — горячий рисовый суп.

Слова бабушки обидели меня. Я рассердился, крикнул:

— Я же горю весь. От озорства, что ли это, глупая старуха!— и отвернулся от нее.

А мать, бедняга, побежала на кухню варить постный рисовый суп.

Я начал метаться. Бабушка, наконец, пошевелилась, встала. Сунула четки на полку, не торопясь подошла ко мне, сухими морщинистыми руками потрогала лоб.

— И поделом тебе, озорной козел. Минуты покоя не ведаешь, все мечешься, вот и терпи теперь!

Я обозлился, оттолкнул бабушку руками:

— Уходи, уходи, старая! Что я тебе сделал, чем обидел?

Из кухни с чашкой приготовленного наспех супа вернулась мать. Заправила суп кислым молоком, помешала деревянной ложкой.

— Вот, откушай чуточку, сразу поможет.

Поднявшись через силу, я съел две-три ложки супа и снова откинулся на подушку.

Наутро температура у меня поднялась еще выше. У меня перехватило горло, пересохло во рту, потрескались губы. После завтрака бабушка, склонившись над моим изголовьем, внимательно посмотрела на меня и потянулась в нишу за своей старенькой латаной паранджой:

— Шаходат, придется, видно, позвать Урин-буви. Похоже, сглаз у него, у этого дурня.

— Правда, мама, я и сама уже подумала об этом,— обрадовалась мать.— Идите, зовите.

Бабка Урин или Урин-буви известна во всей округе. Жила она неподалеку, в нашем же квартале Гавкуш. Основное ее занятие — повитуха. Толковая, расторопная, решительная и властная, она принимала роды у женщин всех ближайших кварталов. А иногда за ней приходили и из дальних частей города. В трудных случаях она встряхивала роженицу, подхватив под мышки, катала, положив на одеяло, но как бы там ни было, а родить помогала. У нас, например, она принимала всех, начиная от старшего моего братишки Исы, сестры Каромат, меня, до младшей сестрочки Шафоат. Вторая профессия старухи — изгонять сглаз. Поэтому она и одного дня не сидела дома. С бабушкой они были закадычные приятельницы, верные подружки «до

скончания века» и виделись не реже, чем раз в три-четыре дня.

Очень скоро бабушка вернулась вместе с Урин-буви. — Мусабай, светик мой, что с тобой случилось? — сбросив накинутый на голову халатишко, Урин-буви поправила платок на голове и сейчас же начала засучивать рукава. — А ну, Шаходат-бану, быстро давайте чашку отрубей да четыре комочка соли. Одно дело — заболеть, другое дело — умереть. Ничего страшного, просто сглаз вошел в него. Мусабай, он приглядный у вас.

Старуха усаживается около меня, скрестив по-мужски ноги. Мать приносит из кухни чашку отрубей, но Урин-буви продолжает болтать с бабушкой о всяких пустяках. Это раздражает меня. Я кричу:

— Мама, воды! Ледяной воды! Горю весь...

Урин-буви поворачивается к бабушке:

— Не иначе, как сглаз это, подруженька. Видите, я еще не начала, а он уже мечется.

Внезапно у нее начинается приступ кашля, она долго не может передохнуть. А прокашлявшись, просит мать:

— Какой-нибудь платочек мне, хозяйюшка! — и тут же принимается изгонять сглаз: — Не моя это рука, преподобной наставницы моей рука... — Она притворно зевает, кружит у моей головы завернутую в кисейный платок чашку с отрубями. — В голову ли дитятки моего вошел — сгинь, в ласковые ли глазоньки его вошел — сгинь. Сгинь, сгинь, сгинь! Не сгинешь — тебе проклятье, не изгоню — мне проклятье.

Старуха снова и снова притворно зевает. Потом осторожно разворачивает платок.

— Вай, подруженька! И лютый же сглаз поразил нашего мальчонку! Смотри, смотри, как вздулись отруби.

Она опять шепчет что-то про себя, читает какие-то молитвы, заклинания. Кружит чашку с отрубями вокруг моей головы, вокруг груди. Твердит что-то, повторяя свое «сгинь, сгинь». Долго, около часу, колдует надо мной.

Дымя исырыком, положенным на четыре горящих угля в совке, подходит мать.

— Бабушка, вы уж попутно и исырыком окурите его, — улыбается она и протягивает совок Урин-буви.

— Хорошо, милая хозяйюшка, — говорит Урин-буви и кружит надо мной совок с исырыком, приговаривая нараспев:

Ты гори, гори трава,
Огонек заветный,

Ты спали дотла, трава,
Всякий сглаз секретный!

Несколько раз повторив свои заклинания, она возвращается совок матери:

— Вот, теперь сыночек твой поправится, будто с ним ничего и не было, как конь, будет здоров. Мои локровительницы-пери дали мне знать, что все недуги уже покинули его. А здоровье, говорят, превыше всякого богатства, свет мой.

Мать расстилает перед бабушкой и гостьей скатерть с угощениями, и у них начинается долгая беседа.

Я, закрыв глаза, прислушиваюсь к разговору старух.

— Подруженька, смотри, Мусабая на сон потянуло. А сон приходит, когда уходит болезнь, вот именно!— говорит Урин-буви.

— Да будет по вашему слову, милая!— говорит бабушка, отпивая из пиалы глоток чая.

Пролежав три-четыре дня, я поднялся.

Я тогда верил в сглаз. И тому, что джины и пери могут принести человеку много зла,— тоже верил. Лишь много лет спустя сознание мое прояснилось, и я избавился от всяких суеверий.

* * *

В полдень, выйдя из школы, мы все бежим на перекресток.

— Чудо! Чудо!

— Диво! Диво!

— Трамвай это, трамваем называется!— говорит один из мальчишек.— Я слышал от больших, он бегаёт без лошадей!

Густо валит снег. На мне старый ватный халат, на голове истрепанная, замызганная шапка, на ногах ичиги с протертыми задниками и дырявые калоши со стершимися скользкими подошвами. Усевшись журавлиным рядом по краю тротуара, мы поджидаем трамвая.

Откуда-то прибегает запыхавшийся Тургун. На нем поношенный камзол. Поверх тубетейки повязан грязный платок — в холод Тургун всегда так прятал уши.

— Вот интересная штука!— говорит он, втискиваясь между Агзамом и мной.— Я до самого Каръягды бегал. Внутри какой-то человек продает ярлыки. Я пристроился было на ступеньке, да ярлычник закатил мне такую затре-

щину, что я еле ноги унес. А все-таки интересно. Прямо новый дом, сняет весь. А внутри скамейки ряд за рядом. Как припустит, не успеешь оглянуться, а он уже за версту укатил.

Мы слушаем, раскрыв рты.

— А двери есть в нем?— интересуется кто-то.

— Ну да! Есть дверь для входа, есть дверь для выхода. Понимаешь, лошадей нет, а он летит себе, погромыхи-вает только...

— Чудо! Чудо!— говорит один из мальчишек.

У чайхан, у бакалейных лавок по краю тротуара сидят, опустившись на корточки, помрачневшие, притихшие старики.

— Конец свету настает. Всякие чудеса являются. Все это знаки могущества всевышнего, по его воле,— говорит какой-то старик, теребя жиденькую бороденку.

Неожиданно со стороны Хадры, с грохотом, с беспре-рывным звоном подкатывает трамвай. Мы все шумно вска-киваем, окружаем новенький сверкающий вагон. Трамвай внезапно трогается и быстро удаляется, а у Катартерека опять останавливается. Запыхавшиеся, мы гурьбой бежим вслед. Но добежать не успеваем, он снова трогается и катит дальше.

— Ничего, сейчас другой подойдет!— дергает меня за руку озорной, обо всем осведомленный Тургун.— Видал, Мусабай! Целый дом, большой, просторный.

— Чудо! Я слышал сейчас, будто вон по той проволоке какая-то сила течет, правда это, друг?— спрашиваю я, показывая глазами на провод.

— Этого я не знаю,— говорит Тургун, потирая покрасневшие от холода руки,— но бегают он, сам видишь, без всяких лошадей.

Появляется какой-то мусульманин, он старательно очищает трамвайные пути. Понаблюдав за ним, Тургун говорит:

— Если бы меня взяли на работу — я вполне справился бы с этим делом!

— Ступай, ступай отсюда! Нос прежде утри,— обрывает Тургуна рабочий.

— Эх, вот бы прокатиться на этой штуке в свое удовольствии!— мечтательно говорит один из наших товарищей.

Не зная устали, запыхавшиеся, мы носимся от Баланд-мечети до Хадры, от Хадры до Катартерека, встречая и провожая каждый трамвай. Бегаем долго и расходимся по домам только в сумерки.

Пятница, начало июня. Наступила летняя жара. Ребят на нашей улице немного. Агзам и Ахмад поступили учениками к ремесленникам.

Из дома выбежал Тургун в старенькой рубашке, в грязных штанах, а на голове новая тюбетейка.

— Вот, посмотри на вышивку, Мусабай. Это называется «Цветок на лугу»,— говорит Тургун, протягивая мне свою тюбетейку.

— Тюбетейка неплохая,— говорю я, поворачивая ее в руках.— Только вышивка не очень умелая, да и сшита тюбетейка нескладно. Смотри, какие закладки между строчками, наверное, из грубой хрустящей бумаги.

— Ну-ну! Ничего ты не понимаешь,— говорит Тургун, вырывая у меня тюбетейку.— Ее подарила мне тетка. Ты на свою взгляни: допотопная, и нищий не наденет, а ты носишь ее на голове.

Мы в шутку хорохоримся некоторое время, толкаемся, наскакивая друг на друга, как петухи.

— Хватит, друг, довольно! Шутки хороши в меру. Послушай, что я тебе скажу,— говорит Тургун.— На крышах уже трава пожелтела, играть там нельзя. Не лучше ли нам отправиться куда-нибудь, где прохладнее? Возьмем с собой корову дяди. Тетка у меня скупая до смерти, над глотком молока дрожит, а корове лишнего клочка сена не даст. Дядя частенько ругает и колотит свою жену, чтоб наставить на путь, да все без толку. Есть у них одна дочка, и та замарашка. Тетка втайне от дяди продает молоко и собирает деньги — копит для дочки одеяла, сюзане, покрывала, всякую всячину. Не пьет, не ест, только и знает, добро копит...

— Хватит, хватит!— обрываю я Тургуна.— Ты болтлив, как старуха. Пошли! Давай, веди свою корову. Возьмем с собой по лепешке, и довольно. По пути, когда начнутся сады, можно незаметно урюку насшибать.

Завернув в пояс по лепешке, мы идем к дяде Тургуна. Отвязав корову, ведем ее к воротам. Вдруг, откуда ни возьмишь, тетка — встала нам поперек дороги, растопырилась, побледнела:

— Вай! Куда это вы, подохнуть вам?

Тургун, краснея от злости, подтолкнул меня:

— Растолкуй ей!

Я осторожно объясняю:

— Мы попасем ее за городом, накормим так, что у нее

живот, как мех, раздуется. Может, и вам яблок, урюка принесем.

— Вай-ей!— всплеснула руками обрадованная тетка.— Удачи вам, в жизни, милые! И правда, сена нет, клевер дорог, голодает коровушка моя. Вы и мешок прихватите с собой, травы нарвете там, жертвой мне стать за вас!

Тетка мигом приносит откуда-то и сует мне в руки большущий домотканый мешок. Тихонько шепчет мне, оглядываясь на Тургуна:

— Этот озорник как бы не загубил корову. Ты сам посмотри за нею, Мусабай. Ради тебя только и отпускаю ее, милый...

— Чух-чух! А ну, шагай, животина!— кричит Тургун, подгоняя старую тощую, как палка, кущую корову с ладанками и черными, в белую крапинку, бусами на шее.— Да иди же ты! Эта надоедливая женщина никогда не перестает болтать!— злится Тургун, но говорит, чтоб не слышала тетка.

Мы угоняем корову. Миновав Балянд-мечеть, поднимаемся к Бешагачу. Жарко. Душно. Горячая пыль обжигает ноги. Особенно тяжело бедной корове. Заплетая ногами, бредет она еле-еле.

На Бешагаче, в густой тени могучих талов, много чайных. Под мостом вода ревет, бушует. Длинные ряды мелочных лавчонок; в них рис, маш, морковь, лук, сушеный урюк, изюм. Чего только тут нет!

Мы даем корове передышку. Тургун, прогуливаясь около ишаков и лошадей, привязанных у воды, насобирал охапку сена и клевера.

— Хорошо сделал, плут!— похвалил я друга, привязывая корову в сторонке к талу.— Пусть немного полакомится животина.

Корова так умиралась, что и на корм взглянуть нет у нее силы,— возьмет губами былинку и жует еле-еле. Мы понуждаем ее, сеем к носу пучки клевера. «Му-му! Ешь, ешь, животина! Идти далеко, наедайся».

У нас животы подвело от голода. Я достаю из пояса черствую лепешку и говорю Тургуну:

— Твоя лепешка пусть полежит, потом съедим,— и делю лепешку на две равные части.

Опустившись на корточки на берегу канала, мы отламываем от своих половинок по куску и бросаем в воду выше по течению. Куски размокают, пока доплывают до нас. Мы съедаем их и бросаем в воду еще по куску. Так, поедая

лепешку, мы одновременно и развлекаемся: чей кусок быстрее доплывет.

Мы поднимаемся и продолжаем путь.

Корова наша вот-вот свалится. Тургун тащит ее за бечевку, я подгоняю сзади. Начинаются сады. Чем дальше, тем больше садов и огородов по сторонам.

— Корова совсем выбилась из сил,— говорю я Тургуну, пытаюсь отвлечь его от мысли добраться до Аскии.— Вон, видишь, ячмень, клевер, картошка кругом. То же, наверное, будет и в Аские. Тут по берегам арыка много аджарыка. А аджарык, он, знаешь, лакомство для коровы!

Тургун неожиданно соглашается:

— До Аскии уже мало осталось, да ладно, пусть коро-ва попадется немного, потом двинемся дальше.

Пустив корову пастись, мы присели отдохнуть. Наперегонки съели оставшуюся лепешку и тихонько пошли вдоль арыка.

— Мусабай!— внезапно останавливаясь, говорит Тур-гун.— Смотри, слив сколько.

Я взглянул на дерево, обрадовался:

— Вай-буй, сколько родилось! Только у этого дерева, наверное, хозяин есть?

Но нигде никого не видно. Тургун решительно карабка-ется на дерево, набивает рот, бросает горсть слив на землю.

— Бери, ешь. Чистый сахар!— и лезет еще выше.

Я подбираю с земли брошенные им сливы.

— Очень вкусные. Бросай еще.

— А ты залезай сам,— предлагает Тургун.— Наедемся и за пазуху наберем. Смотри, как я высоко забрался. Кру-гом никого нет, не бойся.

Я уже больше не раздумываю, проворно карабкаюсь на дерево, встаю на толстую ветку. Набрав горсть слив, хочу сунуть их за пазуху, как вдруг слышу снизу грубый окрик:

— Ах, мерзавцы! А ну, слезайте!

Сердце у меня вздрогнуло и остановилось. Тургун тоже притих. Я скосил глаза: под деревом стоял высокий худо-шавый человек и сердито смотрел на нас, задрал голову.

Мы нехотя слезли с дерева. Человек схватил нас креп-кими, как клещи, руками:

— Откуда вы явились? Из города, что ли?

— Да, из Ташкента. Хотели корову попасти,— не смея поднять глаза, тихо ответил я.

Тургун насупился, сказал со злостью:

— Мы идем в Аскию, к родне. На дерево только-только залезли. Отпустите!— и попытался вырвать руку.

Хозяин дерева громко расхохотался:

— Он уверяет, что только залезли, несчастный! А пазуха-то полна слив!

Тургун одной рукой рванул подол заправленной в штаны рубахи. Взглянув на рассыпавшиеся сливы, сказал с издевкой:

— Тоже богатство, полдесятка слив! И еще ругается из-за этого!

— А у тебя?— повернувшись ко мне, спрашивает хозяин сливы.

— Нет-нет, дядя! Ей-богу, у меня ничего нет. Вот посмотрите!— Я встряхиваю подол рубахи.

— Из какого квартала вы?— снова спрашивает хозяин.

— А вам какое дело? Пустите!— говорю я, пытаюсь вырваться.

— Из квартала Гавкуш,— отвечает за меня Тургун.— Это я во всем виноват.

— Ага!— смеется хозяин.— Значит, из квартала Гавкуш — из квартала воров, где быка украли и зарезали...

Развернувшись, он бьет Тургуна по щеке. Потом замалчивается на меня, но я мгновенно приседаю, закрыв руками лицо, и пощечина меня минует.

— Хитер, мошенник!— сердится хозяин.— Вот я сейчас расправлюсь с вами!

В это время рядом остановились два каких-то благообразных старика.

— Пощечину вашу мы издали слышали,— обращаясь к хозяину, говорит один из них, похожий на ученого.— Ну, так за что же вы бьете парнишек?

Когда хозяин дерева коротко рассказал о случившемся, заговорил второй старик.

— Это же просто ребячье озорство. Вы бы разъяснили им, поговорили бы с ними по-хорошему,— строго сказал он хозяину и, повернувшись к нам, продолжал уже ласково:— Дети мои, прежде всего сливам надо дать созреть. После этот человек, сорвав ли, стряхнув ли с дерева, вынесет их на базар, вот тогда вы и сможете купить их на деньги. Таков порядок, мальчики, за все положено платить.

Хозяин разжал свои пальцы-клещи.

— Такие они бессовестные — ни за что не отпустил бы их. Только ради вас,— сказал он старикам.

Поблагодарив в душе стариков, мы бросились бежать. Вслед нам послышался дружный смех.

— По обе стороны дороги везде посева, и с циновку нет места попасть корову. Давай лучше отправляться домой,

чтоб еще не столкнуться с какой-нибудь бедой,— на ходу упрашиваю я Тургуна.

— Твоя правда, друг. Вот и корова забралась в горох, значит, надо бежать отсюда поскорее,— говорит Тургун.— Аския очень подходящее место, да вот не вышло у нас. Смотри, щека у меня огнем горит. У этого болвана железная рука!

Вернувшись на Бешагач, мы опять отдохнули немного. Дальше пошли мимо земляной крепости. Здесь в маленьких низеньких клетушках, кое-как слепленных, жили русские рабочие. У этих хибарок толпились кучки женщин, раздраженных, гневно кричащих что-то. Мы остановились. Я тогда совсем не понимал по-русски. Спрашиваю одного парнишку:

— Что за шум у них, братец?

— Э-э,— говорит паренек,— мастеровые, особенно их жены, недовольны властью. Царя ругают. Говорят, нечем кормиться, мяса давно не видели.

Мы долго стоим здесь, смотрим. Откуда-то появляются полицейские, они угрозами пытаются разогнать женщин, но те не уступают, продолжают выкрикивать ругательства, а иные начинают швырять в полицейских камнями. Подъехал отряд конных миршабов, они с криками набрасываются на толпу. Мы с Тургуном спешим угнать корову.

Претерпев тысячу мучений, мы возвращаемся домой, усталые до смерти. Солнце еще высоко, корова голодная, мешок пустой.

У тетки Тургуна глаза на лоб полезли.

— Вай, помереть мне!— вскричала она.— Что же вы так рано вернулись? А где трава?

— Э-э, весь свет занят посевами, ни травы нет, ни места корову попасти,— говорит Тургун.— И вы тоже, довели корову, что вот-вот ноги протянет. Тысячу раз крикнешь «чух», прежде чем она сделает один шаг.

— А что ж, корова, как корова,— говорит тетка, поглаживая животину по крупу. Потом поворачивается ко мне:— И ты такой же непутевый, подохнуть тебе! Что вы там делали? Столько времени шлялись и мешок пустым принесли.

Я молча поворачиваюсь и отправляюсь домой.

— Что ж ты так рано?— спрашивает мать и, оглядев меня, начинает упрекать:— Уморился, как собака! И какая тебе нужда шляться, сидел бы в такую жару дома.

Опустившись на край террасы, я рассказываю матери о том, что мы видели в Земляной крепости:

— Жены русских мастеровых взбунтовались. Их разгнали русские полицейские и миршабы.

— Правда?!— вскричала мать.— Только бы все мирно кончилось. У них, у бедных, тоже положение тяжкое. У всех бедняков жизнь одинаковая.

Мы долго сидим, разговариваем с магерью.

Глава пятая

ПИР ДЛЯ ВСЕХ

В дни поста я любил вставать на рассвете, хотя соблюдать пост у меня не хватало терпения. Поститься надо было с утра и до вечера, а я уже к обеду, а то и раньше чувствовал голод. Бабушка сердилась, бранилась: «Обжора! Согрешил уже? Хотя бы по три дня — в начале поста, в середине и в конце попостился. Привычка к воздержанию умеряет голод».

— Я еще мал, а у маленьких, я слышал, рот все время должен быть занят, так повелел сам аллах. Вот, когда состарюсь, как вы, тогда и буду соблюдать посты,— возражал я и тем еще больше сердил бабушку.

Мать в эти споры не вмешивалась, но наедине говорила мне: «Ты, сынок, можешь изнурить себя. Пост обязателен для нас, для больших, а ты думай о своих уроках».

Во время поста на Шейхантауре устраивались так называемые ночные базары. Вечером мы, кучка ребят, бежим на Шейхантаур. Здесь горит много лампочек. В чайханах чисто, прохладно. В одной из них с группой музыкантов выступает певец Туйчи-ака. Все сидят тихо, слушают. Повара готовят шашлык, плов, шурпу, торговля у них идет бойко.

Вот мальчишки и джигиты под гармонь катаются на карусели. Здесь тоже давка, каждый, у кого в кошельке есть полтеньги, может получить удовольствие, прокатившись верхом на деревянной лошадке или в кузове «тележки». Но у нас денег нет, и мы довольствуемся тем, что глязем на карусель со стороны.

Есть и кино, окруженное дощатым забором. Показываются разные трюковые картины. Много ребят бродит по закоулкам «ночного базара», но лишь немногим счастливым удается посмотреть картину, забравшись на дерево. Миршабы, если заметят, гонят их.

Неподалеку от кино панорама — небольшая площадка, огороженная пологом с деревянной скамейкой внутри. За пологом орудует какой-то щеголеватый человек с длинными, закрученными усами: через специальную подзорную трубу с двумя окулярами он показывает портреты разных «знаменитостей» и всевозможные картинки — белого царя, его семью, министров, сановников, халифа всех мусульман (турецкого султана), виды Стамбула и прочее, сопровождая приказ громогласными объяснениями. Когда усач умоляет, из-за полога, оживленно переговариваясь, гурьбой выходят зрители, и, если он в это время отлучается за чаем ли, за хлебом, мы тотчас проскальзываем за полог и липнем к окулярам. Но и здесь удовольствие наше длится недолго: возвращается хозяин панорамы и выгоняет нас.

Бакалейщики в своих маленьких лавчонках торгуют до полуночи. Каких только сладостей нет у них! Халва разных сортов, фисташки, миндаль, урюковые зерна, леденцы, парварда, фигурные пряники («хлебцы-лошадки»), петушки. Нам, конечно, это недоступно, для нас даже со стороны поглазеть на все эти богатства большое удовольствие.

Не зная устали, мы бродим по ночному базару, заглядываем во все уголки. А незадолго до полуночи бежим на крышу медресе. Заискиваем перед барабанщиком, который уже стоит у костра, подогревая огромный барабанище: «Дяденька, дайте мне — я подогрею!» «А я дрова в костер буду подкладывать!» Тучный барабанщик, продолжая заниматься своим делом, строго кричит на нас. «Ступайте, ступайте отсюда! Убирайтесь!» Мы отходим в сторонку, присаживаемся на корточки и с нетерпением ждем наступления полуночи. Ровно в двенадцать раздается грохот подогретого барабана: «така-тумбака-банг», сопровождаемый звонкими трелями сурная. Мы слушаем, позабыв обо всем на свете. Бой барабана оповещает о наступлении полуночи. Все мусульмане от малого до старого поднимаются для очередного разговенья. Смотря по достатку, готовят плов, шурпу, шавлю, а те, кто победнее, довольствуется хлебом и чаем.

Послушав барабан, мы отправляемся по домам. Бабушка с матерью каждый раз встречают меня укорами:

— Ты и страха не знаешь, джинов и тех не боишься! Я оправдываюсь:

— Да я один, что ли, хожу? Я с товарищами.

Как-то вечером я никуда не пошел. Соскучившись один, рано лег в постель. Но часов около десяти, наверное, во двор вбежали взволнованные ребята.

— Вставай, Мусабай!— с ходу закричал Тургун, блестя глазами.— Слышал, что случилось? Белый царь в войну вступил! С германом, что ли,— название, чтоб его, трудное такое,— воевать будет. На Шейхантауре разговоров всяких — полно!

Я вскочил с постели:

— Правда?!

— Конечно! Белый царь, он, знаешь, в самом Петербурге живет!— поясняет всегда и обо всем осведомленный Тургун.

— А на Шейхантауре — все до одной лампочки потушили. Шуму поднялось! Народ сразу врассыпную,— говорит один из мальчишек.

— Что там такое?— спрашивает со двора мать.

В это время из-за дувала доносится звонкий голос тети Рохат:

— Подружка, слышали? — Стоя на лестнице, она продолжает громким шепотом:— Война, говорят, начинается. Белый царь указ дал. Муж только что прибежал с улицы. Говорит, несколько больших царств вступают в войну...

— Аллах да отвратит от нас лик войны!— печально говорит мать.

Спотыкаясь в темноте, во дворе появляется учительница:

— Несчастье обрушилось на голову народа, слышали, Шаходат-бану?

— Да-да, слышали,— разом отвечают мать и тетя Рохат.

Учительница всходит на террасу, садится у чирака. Обернув вокруг головы один конец платка, другой забрасывает за спину. Говорит:

— Россия — далекая огромная страна. Ни конца ей, ни края нет. Вот, Туркестаном враз овладела. Младший брат мой говорит, что сила царя Николая велика, как у орла, к примеру, и солдатам его будто бы счету нет, как муравьи кишмя-кишат. Но брат говорит, что царь германов, он тоже хитер и коварен. Словом, светопреставление начинается, Шаходат-бану. Пусть сам всевышний сохранит нас, мусульман, пусть он сам будет нам прибежищем и защитой!

— Мусульмане смирные, как овцы, они самые кроткие из всех рабов божьих,— говорит мать.

В разговор вступает из-за дувала тетя Рохат:

— Трудно, ой как трудно будет беднякам! Цены теперь, вот посмотрите, подскочат до самых небес.

Обменявшись новостями, они расстаются — учительница уходит со двора, тетя Рохат слезает с лестницы. Расходятся по домам и мои товарищи. А я еще долго лежу, предаваясь размышлениям.

Приготовив плов, мать велит будить бабушку.

— Бабушка, бабушка, война началась! — тихо шепчу я.

— А? Что он болтает тут? Не накликай лиха! — вздрагивает бабушка.

Я подтверждаю новость. Бабушка сурово хмурит брови:

— Недаром сон у меня был беспокойным, кошмары всякие виделись. Всевышний да смилуется над нами, мусульманами! Николай здорово-таки давил народ, вот ему и наказание. — Она подходит к арыку и шумно плещется, умываясь.

* * *

Баи Туркестана, помещики, кулаки радуются. Воят: «Его величество белый царь вступил в войну. Мы безусловно одолеем врага, закончим поход победой!» Царская полиция держит жителей Ташкента в еще большей строгости. В народе нарастают беспокойство, тревога.

— Остерегаться надо! — шепотом наставляет дед своих подмастерьев и учеников. — В последнее время полиция рыщет всюду, шпионов-соглядатаев развелось видимо-невидимо. У них есть тысячи всяких способов, хитростью, обманом наведут на разговор, а потом возьмут да и схватят. Никогда не жалуйтесь, что жизнь стала тяжелой, что на голову нашу обрушилось много бед и несчастий. Знаю, жизнь наша стала трудной, очень трудной. Но горе и гнев надо таить в себе. В чайханах, на улице помалкивайте. А если заприметите какого соглядатая, сейчас же вставайте и уходите.

— Э, отец, что суждено, того не минуешь, — говорит пожилой подмастерье.

В доме у нас еще чаще, чем прежде, стали собираться соседки. Раньше говорили о ворах, бродягах, о распутных мужьях. Но с началом войны такие разговоры были забыты. «Матка» этих посиделок, старая учительница, рассказывает все, что слышит от родни, от своего младшего брата.

— Слушайте! Нет конца ужасам. Все государства разделились на две стороны. Всюду начались жестокие сражения, — говорит старуха. — Тяжко, тяжело народу, очень тяжело! Сгинуть им, царям, разве нельзя было всем государствам жить в ладу, в дружбе?! У каждой стороны сол-

датами хоть пруд пруди. На морях корабли гибнут, тонут. Да, все, что я говорю вам, сущая правда, от младшего брата своего слыхала. Особенно велики коварство и хитрость германа: разные там исполинские пушки у них, всякое уму непостижимое оружие. Словом, всего и не счесть.

У всех только и разговоров, что о войне, и о том, что происходит в Ташкенте.

— Ваш Гаффар, сдохнуть ему, принес откуда-то новость,— говорит тетя Рохат, вскидывая сплошные, наведенные усьмой брови и продолжая заниматься разложенной на коленях вышивкой.— Несколько мужчин пили будто бы в чайхане чай. Один бедняга возьми да и пожалуется на трудность жизни. А в сторонке, неподалеку от них, сидел какой-то незнакомый человек, с виду простачок будто бы, невзрачный такой, с бельмом на глазу, с коротко подстриженной бородкой. А на самом деле он был шпионом-доносчиком, подслушивал, о чем говорят люди. Вот сидит он, будто ничто его не касается, даже нарочно задремал вроде. А тут вдруг как вскочит. «А ну-ка, идем, говорит. Здорово, говорит, ты нажаловался тут, смуту поднял!»— И тащит того беднягу. Тот рот раскрыл, ничего не понимает, дрожит весь с ног до бороды. Люди вокруг незаметно по одному, по одному начали разбегаться. Тот бедняга умоляет со слезами: «У меня, говорит, детишек много. Я допустил ошибку, простите, господин! Я парикмахер многосемейный, каюсь, простите!» А доносчик, сгореть его могиле, и внимания не обращает, все грозит ему. Тут вступились старики, тоже стали просить: «Сынок, говорят, не обижай несчастного, смилуйся!» А доносчик подлый, кричит будто бы: «Идем, говорит, в полицию!»— и тянет того беднягу за руку. Там же, в чайхане был какой-то джигит. Сидел он молча, опустив голову и не вмешиваясь в разговор, а тут вдруг вскочил со своего места и манит доносчика, мол, отойдем, разговор есть к вам. Отвел его в сторону, что-то начал шептать ему нарочно. А тем временем тот бедняга кинулся в окно и убежал. Доносчик набросился было на людей, мол: это вы, помогли ему бежать, да так ни с чем и ушел. Ваш Гаффар каждый день мешок всяких слухов приносит. Выйдет на базар с вязанкой веников и пока продаст, целую арбу новостей соберет. А что до цен, то они каждый час скачут все выше и выше.

— Да, тяжело нам, худо нам,— говорит мать.— Цены и правда до небес подскочили. Сердце у всех горем-заботой до краев переполнилось. Вот доносчики и настораживают уши во все углы.

— У баев, сгнуть им, всегда нож в сале, потому что едят жирно. Перебесились все, шеголяют нарядами, кичатся, нос задирают,— говорит Сара Длинная. Широкое платье на ней все в заплатках, на голове грязная затасканная повязка.— Сгнуть им, строят роскошные дома, подворья, сады, покупают по тридцать-сорок танапов. Как началась война, столько новых богатеев объявилось из тех, какие торгуют мукой, маслом, всякими припасами. Короче: худые времена настали, видно, скоро свету конец...

— Все улемы, подвижники и те за деньгами гонятся, в распутстве погрязли. Вот, на Себзаре есть большой ишан,— вступает в разговор учительница.— Сам святой подвижник будто бы, много мюридов-учеников имеет, а на поверку оказался бабским угодником. Четыре жены у несчастного, одна другой красивее, так он недавно прогнал старшую и женился на пятнадцатилетней девчонке. По обету была отдана ему бедняжка.

— Э-э,— говорит Сара Длинная,— святых подвижников, какие были прежде, совсем не осталось. Рушится белый свет.

Бабушка, копошившаяся во дворе, строго прикрикнула:

— Довольно, довольно. Улемов, святых подвижников не касайтесь, злословие и смута к хорошему не приведут. Улемы — служители шарната. А вот на баев, на кровопийцу царя пусть обрушит аллах гнев свой!

Соседки на минуту умолкают. А Сара Длинная возражает:

— От жалоб наших стон стоит. Жизнь день ото дня становится труднее. Что ж нам таить свои печали, мы говорим то, что есть.

Но разговор уже не клеится. Соседки расходятся. Ближится вечер. Мать идет к очагу и разжигает огонь. Поджарив немного луку на масле, затевает постную похлебку из маша и рисовой сечки.

— Опять машхурда?— злюсь я.— Опротивела она уже!

— А что я могу поделать? Если сегодня приготовить плов, потом целую неделю котелок не с чем будет кипятить. Изведет, видно, меня беспечность твоего отца,— тихо говорит мать.

— Зачем клянeshь его?— сердито взглянув на мать, говорит бабушка.— Если он скитается, то не ради забавы, а ради заботы о пропитании, тебя, меня, детишек ради. Терпи. Хорошая жена, говорят, если дом вода зальет, воду выпьет всю, если камень свалится, камень изложет.

Народ в тревоге, волнуется. На базарах, на улицах, в трамвае,— всюду только и разговоров: «Его величество белый царь издал указ мобилизовать на тыловые работы, на рытье окопов джигитов мусульман по всему Туркестанскому краю. Его превосходительство губернатор уже разослал указ по городам всех уездов, по кишлакам и в степь по аулам».

Элликбаши — правитель квартала, и все элликбаши будто бы дали губернатору такое обещание: «Это указ его величества белого царя, значит, наш долг — повиноваться. Раз его величество белый царь повелел, мы дадим джигитов на тыловые работы. Сами выберем сильнейших и лучших!» Жители города волновались, высказывали недовольство: «Сынков баев, купцов, кулаков, конечно, нет в списках!» — говорили они.

В нашем квартале Гавкуш тоже смута, скандал. Все в один голос заявляют: «Элликбаши почтенный! В списки в первую очередь пишите сынков баев, купцов. Они всюду были впереди, вот и теперь пусть идут первыми, а мы посмотрим».

Кичливый элликбаши нашего квартала в своей щегольски намотанной чалме, в длинном чесучевом камзоле с толстой цепочкой от серебряных часов через всю грудь,— кричит, тараша свои острые, как колючки, глаза:

— Люди, расходитесь! Отправляйтесь по своим делам. Все совершается по воле аллаха. Баи, купцы наша гордость, наша слава, глупые!

— Прибегайте к аллаху, молитесь ему, и он поможет вам во всех ваших затруднениях! — улещает народ кто-то из богачей.

Народ, возмущенный и озабоченный, расходится с тревогой в сердце. Баи квартала, элликбаши, имам и прочие шепчутся между собой, держат совет. Все они заодно, все тянут в одну сторону.

Однажды вечером, как всегда, неожиданно, возвратился из степи отец. Мать, проворно расстилая для него одеяло и подсовывая ему за спину подушку, спрашивает:

— У казахов тихо или там тоже беспорядок?

— Э-э, что спрашиваешь! всюду смута, схватки, драка... Как здесь, родственники, близкие, все ли благополучны? Я из-за этого и поторопился приехать. Очень тревожно стало в степи.

— Здесь все на волоске держатся,— вздыхает мать.

Отец то и дело закладывает насвай, сидит, молчит, по-
нурий.

— Да пошлет аллах мир и спокойствие сартам, киргизам, казахам — всему народу, и тиранам внушит справедливость и милосердие! — сквозь слезы говорит бабушка. — Говорят, Россия очень далекая страна, как бы сартовские, казахские парни, лучшие наши джигиты не погибли там от холода, от голода. Беда на всех нас свалилась!

Мать приносит самовар.

— Ты особенно не беспокойся, я сыт, — сплевывая насвай, говорит отец. — Мне довольно одного чаю.

Я говорю несмело:

— Белый царь грозит залить кровью весь край, если подданные Туркестана не дадут джигитов. Говорит, брошу солдат с пушками, с винтовками, сокрушу их, и пепел развею по ветру.

Отец с нескрываемым удивлением смотрит на меня пристально, потом говорит негромко:

— Будь она проклята, война! Это — бедствие. Но Николай, как сказал, так и сделает, не отступится. Если решил взять джигитов, значит, обязательно возьмет. Это жребий, выпавший на долю всего народа, и никакого выхода тут нет... — И большими жадными глотками пьет чай.

— Вставай-ка, сын мой Мусабай, — велит он мне. — Иди, привяжи к яслям коня и подложи ему сноп клевера из амбара.

Я проворно вскакиваю и бегу в конюшню.

* * *

Нашу школу перевели во вторую Ак-мечеть. Это новая красивая мечеть неподалеку от нашего квартала, участок ее издавна принадлежал вакуфу.

Учитель наш каждый день начинает урок с сообщения новых пугающих известий и призывает крепко держаться веры, молиться от всего сердца, прибегая к аллаху и к его великому посланнику пророку.

Возвращаясь из школы, мы на перекрестке у Балянд-мечети наталкиваемся на шумный спор.

— Вы спрашиваете, из-за чего мы шумим? А мы и будем шуметь. Бедняки, неимущие, ремесленники — все мы вопить станем. Почему сынки купцов, чиновников, баев остаются, а мы должны идти на муки?! Нет, так дело не пойдет! Пусть и они идут. Вместе с нами пусть идут, тогда и мы слова не скажем, отправимся. Ну, чего тарашнишь глаза?! — кричит распаленный гневом отчаянный джигит.

— Сынок, будь же справедлив, свет мой!— умоляет элликбаши какой-то старик.— Ну ладно, мы бедняки, мы неимущие, но почему все-таки сынки людей денежных остаются в стороне, а? Ну, скажи?

Элликбаши с минуту молчит, потом кричит, выходя из себя:

— Подлецы! Бессовестные! Мерзавцы! Расходитесь, прячьтесь по своим норам, иначе сейчас же полицию вызову!

— Да хоть вешай!— кричит кто-то из толпы.— Жизни нет от вашего тиранства. Где у вас стыд? Есть ли у вас хоть капля совести?!

— Горе нам! До гибели довел нас Николай! Жизни нет от тиранов-чиновников!— кричат женщины, проклиная баев, купцов и их приспешников элликбаши.

Элликбаши орет на женщин, но те и не думают уступить:

— Не дадим своих сыновей!

— Сам иди, сгореть твоей могиле!

— Беднякам хватит мучений, какие они испытывают здесь! На тыловые работы пусть идут сынки богачей!

— Да-да! Пусть богачи идут!

Элликбаши кричит, багровея от гнева:

— Прочь отсюда, бесстыжие! Отправляйтесь и сидите по домам!

Такие споры и смута идут в каждом квартале каждой из четырех частей Ташкента. Весь город охвачен пламенем народного гнева. Всколыхнулись и все города Средней Азии, все кишлаки. Об этом мне приходится слышать от взрослых.

Народ складывает об элликбаши едкие частушки.

Твой дом богат, Садахмад,
Ты носишь шелковый халат.
Но ты продать джигитов рад —
Будь проклят же, Садахмад!

Всех бедняков переписал,
Взвалив на лошадь грузный зад,
— Джигитов мы дадим!— сказал
Элликбаши Садахмад.

Привет, подлеишему, привет,
Здоровы ль вы, элликбаши?!
Рабочих тылу дали вы,

И подпись тут — «элликбаши»!
За деньги трижды продал нас
Блудницы муж, элликбаши!

Ташкент содрогается, словно огнедышащая гора, в кратере которой уже клокочет лава, и гнев внезапно прорывается.

Рано утром я пошел к Балянд-мечети купить клевера. На перекрестке необычный шум, суматоха. Из Шейхантаура, Себзара, Кукчи, направляясь в сторону Алмазара, текут возбужденные толпы народа. Вместе с мужчинами, проклиная белого царя, с плачем, с воплями идут женщины.

Кое-как выпросив у лавочника, торопливо закрывавшего свою лавку, четыре снопа клевера, я вскидываю их на спину и бегу домой. Швыряю клевер в ясли и тут же стремглав бросаюсь к калитке. Мать, стиравшая во дворе, кричит мне вслед:

— Куда ты, шальной! Из-под коня убрал бы!

Даже не обернувшись на оклик, я выбегаю на улицу.

То вприпрыжку, то быстрым шагом вместе с народом я добираюсь до полицейского участка на Алмазаре. Здесь уже много народу. Толпа бурлит. Цепляясь за окрашенную в зеленое ограду, окружавшую двор и сад участка, люди гневно выкрикивают:

— Проклятые тираны! Не дадим сыновей!

— Сгинуть Николаю, довольно мы терпели от него!

Перемежающиеся с воплями проклятья женщин, брань мужчин грозным валом возмущения вздымаются у ограды полицейского участка.

В окнах, в дверях канцелярии мелькают бледные, искаженные страхом физиономии миршабов.

— Прочь, безумцы! Прочь, проклятые! — кричат миршабы.

На них никто не обращает внимания. Толпа мужчин и женщин с яростным ревом раскачивает ограду. С треском валит ее, врывается на просторный двор участка. В окна летят камни. Напуганные миршабы прячутся и стреляют из укрытия. Толпа подается назад, но уже в следующую минуту, охваченная гневом и яростью, снова рвется вперед. Двор участка кипит, как огромный котел. Женщины в старых рваных паранджах, запыленные с головы до ног, многие с отброшенными сетками чачванов, с открытыми лицами, не отстают от мужчин.

— Отступники! Предатели!

— Смерть белому царю!

— Бей тиранов!

Известный своей жестокостью полицмейстер Мочалов, открыв дверь, выходит наружу, но при виде разъяренной толпы, бледнеет, пятится назад и захлопывает за собой дверь.

Жители старого города хорошо знали Мочалова. Он статен и широк в плечах, у него пышные усы, но выражение багрового лица полицмейстера желчно, сурово, даже свирепо. Когда Мочалов проходил по улицам, все — стар и мал, лавочки, купцы и чайханщики, словом, каждый встречный со страхом и трепетом спешил приветствовать его саломом. Если кто по неведению или просто потому, что не заметил, своевременно не поприветствует его, он сейчас же обрушится на «виновного» с плетью, сопровождая расправу самой непристойной бранью. А на расправы он был непревзойденным мастером, и плеть всегда носил с собой особую, с длинным тонким хвостом. Я сам хорошо знал Мочалова и, когда встречал на улице, замирал на мгновение и торопливо бормотал «салам!», а в душе отпускал в его адрес крепкое ругательство.

Возмущение толпы нарастало с каждой минутой. На канцелярию участка рушилась туча камней, были выбиты все окна. Вдруг со стороны нового города внезапно появился отряд конных казаков. Обнажив клинки, казаки внезапно врезались в толпу. Загремели выстрелы. Послышались вопли и проклятья женщин, брань и яростные выкрики мужчин. Многие были сбиты с ног, ранены, убиты. У коекого из джигитов заблестели в руках ножи, но что они могли сделать? Плотная до этого толпа распалась. Плача то ли от страха, то ли от бессильной ярости, я вместе с народом отступаю из сада полицейского участка.

Дома я подробно рассказываю обо всем виденном бабушке, матери, соседям. Среди жителей квартала только и разговоров, что об этом страшном событии. Все переживают, все в тревоге. Носятся слухи один страшнее другого. Говорили, будто губернатор по телеграфу просил у царя разрешения «потопить в крови сартов, сжечь старый город, превратив его в груды пепла».

Из-за дувала показывается голова тети Рохат.

— Гаффар-ака только что принес с улицы новость. Говорят, Ташкент будут обстреливать из пушек. Пропали мы, что будем делать?

Бабушка лежит на постели, устроенной на террасе, у нее паралич.

— Было бы лучше уехать нам куда-нибудь за город,—

говорит она матери, — да на чем переедешь и чем кормиться там станешь. Родственники примут ли, не примут. И я вот слегла. Так что если даже Ташкент гореть будет, сидеть нам дома, куда денешься...

— А, что будет, то будет! — говорит мать. — Неужели власти из-за этой вспышки сожгут такой большой город?!

— Угроза велика, — говорит Сара Длинная, сидящая у изголовья бабушки. — Купцы, пузатые баи на арбах, на извозчиках, бегут в свои загородные усадьбы, а беднякам трудно, ой как трудно! Огню ли будет предан Ташкент, земля ли его поглотит, нам сидеть тут и покорно ждать своей участи.

— Да-да, от того, что суждено, не уйдешь и не убежишь, — говорит старуха соседка.

Они долго горюют, потом соседки одна по одной расходятся по домам.

Вечером я побывал на перекрестке. Народу здесь заметно меньше против обычного, открыты лишь немногие лавки. Но глухой Юсуп спокойно торговал клевером.

Откуда-то подбежал запыхавшийся Тургун.

— Тебя не было, Мусабай, большой переполох получился!

— Эхе! Да я в самый разгар бунта был там. Тебя искал и не нашел.

— Да, я запоздал немного, — Тургун смущенно почесал висок. — А женщины, знаешь, отчаянные оказались. Две были ранены, кровью залиты, я сам видел. Разгромили народ. Многих конями смяли, а сколько под пули попало!..

Я перебиваю друга, спрашиваю озабоченно:

— Говорят, Ташкент огню предадут, правда это, Тургун?

— Э, слухи одни! — по-взрослому машет рукой Тургун. — Баи, правда, бегут из города, это я заметил. А отец мой затаился дома, без перерыва читает молитвы, со слезами шепчет какие-то заклинания, — на бога надеется. — Тургун замаялся. — Знаешь, друг, а не махнуть ли нам куда-нибудь в степь или в горы? Пожили бы там спокойно, без канители. Миршабы здесь, понимаешь, хуже прежнего бьются, гады, никакого терпения нет.

— Что, трусишь? Нет уж, что будет, то будет, — говорю я Тургуну.

В это время мимо, отбивая шаг, проходит отряд солдат с пушками, погруженными на арбы. Люди на перекрестке притихли, помрачнели. Мы тоже, не обмолвившись больше ни словом, отправляемся по домам.

Дома я рассказываю о виденном матери. Мать тяжело вздыхает:

— Да смилуется над нами всевышний, да оградит он нас от всяких бед!

А Гаффар-ака громко кричит со своего двора:

— Не бойтесь, они страшат просто. Зачем властям сжигать такой великий город как Ташкент, он им самим нужен!

Мы немного успокаиваемся. Долго разговариваем, понизив голос. Когда расстелили одеяла и приготовились ложиться спать, явился отец. Мать и я рассказываем ему все, что слышали, что видели. Отец долго сидит молча, потупившись в землю. Потом говорит тихо:

— Весь город в страхе, в смятении. Подождем, потерпим, что будет, то будет...

* * *

Солдаты заняли известную в старом городе обитель дервишей. Утром часов в одиннадцать, в двенадцать мы с опаской идем туда с Тургуном. Видим вышагивающих у входа солдат и незаметно скрываемся.

Точно не помню, кажется, дня через два — через три солдаты вернулись в новый город.

* * *

В нашем квартале, как и всюду в старом городе, горе, скорбь, слезы, плач. Джигиты, назначенные к отправке на тыловые работы, прощаются с семьями, с родными. Я, Тургун, Агзам, Ахмад и еще несколько наших товарищей отправляемся на перекресток к Балянд-мечети. Люди верхом, на арбах, на трамваях, а большинство пешком спешат на вокзал. Мы идем вместе со всеми. По дороге Тургун сумел как-то повиснуть на ступеньках трамвая. Проезжая мимо, он кричит нам:

— Я буду ждать вас у княжеского сада!

Агзам смеется:

— Ну и пройдоха!

— Хлесткую пощечину заполучит от кондуктора,— говорит Ахмад.

Мы долго шагаем по улице. Наконец, усталые, добираемся до княжеского сада. Еще издали видим расхаживающего там Тургуна. Агзам бранит его.

— А что?— огрызается Тургун.— Ну, прокатился я,

удовольствие получил. И кондуктор видел, а промолчал.

— Враки!— говорит Ахмад.— Если бы кондуктор видел, он бы с тебя шкуру содрал.

Мы идем дальше, то и дело останавливаемся, через железную ограду заглядываем в княжеский сад. Высокие деревья, тенистые, чисто подметенные аллеи... Красивый, пышный дворец... и не хотел бы, засмотришься. У подъезда — сверкающая лаком карета. Строгие два аргамака, холеные, шерсть отливает, нетерпеливо бьют копытами. На сиденье шегольски разодетый кучер сидит, нос задрал.

Мы тихонько подходит к карете. Часовой у двери громовым голосом кричит:

— Чего вы тут? Прочь отсюда! Если вдруг выйдет князь...

Мы убегаем.

Так вот, останавливаясь из любопытства то там, то здесь, мы в конце концов добираемся до вокзала.

На перроне уйма народу, давка. Плач, вопли, суматоха. Пробираясь через толпу, мы долго ищем джигитов нашего квартала, но найти не можем. Я начинаю плакать: сын дяди, двоюродный брат мой, Мумин, тоже отправляется в числе мобилизованных, а где его найдешь?

Шипят паром паровозы, иногда внезапно раздается гуток, мы пугаемся, вздрагиваем от неожиданности.

Вот стоит кучка улемов, казиев. Один из них говорит речь. Я прислушиваюсь издали.

— Его императорское величество ведет сейчас жестокое сражение, у него много забот и трудностей, служите же ему верно, джигиты!

Он еще говорит что-то, но я уже не слышу его за шумом и гомоном тысячной толпы.

Поезд неожиданно трогается. Плач, рыдания становятся громче. Поезд убыстряет свой бег и вскоре скрывается. Я громко плачу.

— Перестань! Когда-нибудь вернется твой брат,— говорит Ахмад, обнимая меня за плечи.

Мы долго стоим, глядя вслед уже скрывшемуся поезду. Наконец Тургун первым напоминает нам:

— Пошли! Живот так подвело, что кишки стали тонкими как луковое перо.

Я пришел домой усталый, разбитый, а дома, оказывается, бабушка Таджи сидит с заплаканными глазами, горюет о Мумине.

— Что так долго?— спрашивает мать. Я так беспо-

коилась за тебя. На вокзале был? Брата Мумина видел?

Я молчу какое-то мгновение, потом, глядя прямо в глаза бабушке Таджи, говорю:

— Мумина-ака я видел. Долго искал, потом нашел все-таки, попрощался с ним. Мумин-ака велел передать всем салам. Говорил, что скоро вернется, пусть не горюют.

Бабушка Таджи громко рыдает.

Я коротко отвечаю на расспросы бабушки, матери, потом надолго умолкаю, перебирая в памяти все виденное и пережитое.

Отец, оказывается, тоже побывал на вокзале. Он возвращается поздно. А наутро с рассветом снова отправляется в степь.

* * *

Учитель наш читает коран, пишет на блюдцах, пиалах, чашках молитвы-заговоры для исцеления больных. Если ученики расшались, хлещет их плетью. Устанет, закроет глаза, вздремнет сидя. А в сумерки отпускает нас по домам.

Однажды, когда я зубрил Суфи Аллаяра, учитель незаметно прислушался к моему чтению и сказал с улыбкой:

— Ты читаешь так гладко, будто ручеек воды струит, хватит тебе, мой мальчик!

— Я три раза подряд прочитал Суфи Аллаяра, много газелей знаю на память!— ответил я, смущенный похвалой.

— Правда?!— удивился учитель.— Да, ты парнишка толковый, молодец! Завтра начнем с тобой Навои,— сказал он. И ухмыльнулся.— Только условие: жирный плов, корзина сдобных лепешек и кредитка с большим портретом. Слышишь?

Вечером я пристаю к матери. Мать будто соглашается: «Хорошо». Но, подумав немного, легонько треплет меня по плечу:

— Дороговизна, сынок. Учитель твой, чтоб его, любит плов, знаю, да никак не извернуться мне. Корзину сдобных лепешек и рубль деньгами дам, так и быть...

Наутро мать дает мне корзину лепешек и рубль денег (деньги день ото дня уже начали падать в цене), и я, довольный, отправляюсь в школу, сунув в сумку сборник газелей Навои.

Учитель берет у меня книгу, кладет ее на низенькую табуретку перед собой. Говорит:

— Ну, начнем. Во имя аллаха!..— И, не торопясь, начинает читать. Я повторяю вслед.

Стихи Навои — любовные, философские — исполнены глубокого смысла. Душа моя вдруг как бы озаряется, внезапной вспышкой света,— его аллегории, афоризмы, безукоризненно звучные рифмы западают мне в самую душу.

— Газели Навои любовные, но это любовь к аллаху, чистая любовь,— говорит учитель.— Продолжай читать, придет время, сам поймешь.

Глава шестая

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

И снова весна. Уже набухают почки на деревьях.

Мальчишки квартала носятся с крыши на крышу, запуская бумажных змеев, обыкновенных и большущих — куроки.

Однажды — видимо, в начале марта, и, кажется, в пятницу — я, забросив курок, с утра слонялся на гузаре. Тут из толпы взрослых в уши мне молнией стрельнули слова:

— Николая свалили с трона!

— Престол вдребезги разнесли!

— Избавились от тирана!

— Сгинуть Николаю! Довел, что подышаем с голоду.

По всему базару пошла молва из конца в конец.

Оказывается, губернатор, чтобы скрыть от народа то, что произошло в Петрограде, приказал придержать в первые дни все телеграммы, и все-таки народ узнал правду.

Наутро, наспех попив чая, я побежал на улицу. Хожу, прислушиваюсь ко всему, что говорится на перекрестке. Вдруг со стороны Хадры показалась группа людей, с виду интеллигентов. Среди них несколько ремесленников, бедняков. Слышится духовая музыка, но такая сумбурная, что и мелодии не уловить: оркестр недавно только введен в обиход, и все музыканты — любители из народа.

— Чудно! Слышали, объявилась такая штука — «музыка»?— спрашивает своего соседа один из лавочников, имея в виду оркестр.

— Чудеса!— удивляется сосед.

А интеллигенты кричат:

— Конец деспотизму! Долой кровопийцу Николая! Да

здравствует Временное правительство!— И удаляются в сторону нового города.

Вслед за ними повалили люди нашего перекрестка, мы, мальчишки, тоже присоединяемся к толпе.

В новом городе собралось много русских рабочих и интеллигентов. Оратор, какой-то рабочий, что-то с жаром говорит. Я не знаю по-русски ни слова, стараюсь хоть что-нибудь понять по глазам окружающих, по выражению их лиц.

Домой я возвращаюсь далеко за полдень и до мелочей рассказываю обо всем матери.

— Подлого тирана Николая скovyрнули с трона и спровадили в ад. Слышно, что поводья взяло в руки какое-то Временное правительство...

— Слыхали, слыхали. От соседей слыхали уже,— говорит мать.— И Рохат откуда-то принесла эту новость. Николая, подохнуть ему маленьким, прогнали, и очень хорошо сделали!

* * *

Баи, владельцы земли, купцы неистовствуют больше прежнего. Роскошные пиршества, разгул принимают невиданный размах. Улемы получают огромные доходы от вакуфов. А народ по-прежнему разут, раздет, бедняки, немущие нуждаются в куске хлеба.

Между улемами и джадидами начинается распря, дело доходит чуть ли не до драки. И те и другие кричат, пересыпая речь арабскими и персидскими словами, грозными цитатами из корана. Джадиды вопят о «просвещении нации», «о славном прошлом Туркестана» и вместе с баями организуют «Шура ислам»— Совет Ислама. Улемы создают «Общество улемов».

Помнится, в июне началась подготовка к выборам в думу. Она сопровождается острыми столкновениями. На ноги встают все улемы. К ним присоединяются русские реакционеры, часть местных баев. Народ, не разобравшись, поддается агитации улемов, и они одерживают верх в старом городе.

30-е июля. У Баянд-мечети собрались тысячи людей. Улемы, довольные результатами выборов, выпускают листовку с «Изъявлением благодарности». Кто-то из моих товарищей сует мне один экземпляр: «Читай!»

«Хвала аллаху! Исполненные благочестивого рвения и благородного усердия, жители Ташкента — мусульмане на

гласных выборах 30-го июля сего 1917 года, выполняя необходимую и непреложную национальную обязанность и наиважнейший долг свой, следуя за досточтимыми улемами, коим уготовано быть нашими наставниками на этом евете и предстателями-заступниками в загробной жизни, и на деле руководствуясь их указаниями, преисполненные доверия, с открытым сердцем, жители каждой общины утром к 9-ти часам дружно собрались у своих участков, бережно, как бесценный дар, храня в руках своих выборные конверты и отвращая слух свой от дьявольских наущений некоторых коварных обманщиков и соблазнительей, пренебрегая усталостью и не поддаваясь раздражению, ожидали с должным терпением и выдержкой, даже если приходилось стоять по четыре-пять часов; дехкане оставляли на попечение всевышнего дома свои, своих жен и детей, убеленные сединами старцы держали себя, как полные сил юноши, больные же, как здоровые телом, и без всяких обид друг на друга, без ссор и драк при таком великом и опасном скоплении народа провели эти трудные выборы мирно и весьма спокойно и в предвидении будущей счастливой и блаженной жизни, разумом и совестью сознавая, какой стороне отдать свои голоса, в полном сознании своих выгод и интересов отдавали предпочтение спискам именно той стороны и по своей склонности принадлежащие им выборные «шары» клали в надлежащие места без всякого на то побуждения и по своей доброй воле!

Хвала всем! Да здравствуют истинные мусульмане! Да принесет вам счастье наступление дней свободы! И да будет благословенна наша новая дума!»

Этим длиннейшим обращением, чуждым народу и по языку и по содержанию, улемы пытались сбить трудящихся с толку, устранить их от борьбы. Они ведь умели ловко обманывать и запутывать народ, используя как свое оружие религию.

А что касается джадидов, то они полностью снюхались с буржуазией, кричали «нация», а все свои надежды полагали только на «цвет нации» — баев.

* * *

Я еду на арбе, запряженной могучим справным карабаиром и до отказа нагруженной красными летними яблоками. За арбой клубится туча пыли. Разморенный жарой, я вяло покачиваюсь при каждом толчке, задумчиво поглядываю на пожелтевшую пыльную траву по сторонам, на изрезанные ущельями горы. Спрашиваю арбакеша:

— Дедушка, жара страшная, далеко еще до остановки? Арбакеш, ласковый сухошавый старичок с жиденькой бородкой, в пропыленной рубаше и в глубоко надвинутом грязном войлочном колпаке, лениво отвечает:

— До остановки далеко, сынок, потерпи малость. Сейчас как раз середина лета — самая пора созревания ячменя, пшеницы, всяких плодов-фруктов, так что пусть палит, свет мой. Солнце — штука премудрая. От его тепла большая помощь. Даже больные, зарывшись в песок, в пыль, находят облегчение от своих недугов. Словом, от солнца всему живому польза, его свет и тепло — бесценный дар...

— Я, дедушка, спрашиваю про остановку, сколько верст осталось? — нетерпеливо перебиваю я старика.

— Далеко, далеко, потерпи, — отвечает старик, подхлестывая лошадь. И помолчав, улыбается: — Ты бы песню спел, что ли. Или из благородного корана какую-нибудь трогательную суру прочитал.

— Мне и так наскучило без конца твердить коран. Он от начала до конца весь по-арабски, дедушка. Его смысла даже многие муллы не понимают. А песни петь я не умею, способностей нет.

— Голос, говоришь, скрипучий, а, братец? — смеется старик.

Вдали, суля прохладу, синее цепь величественных гор. А степь пылает огнем. Трава, цветы — все посохло. Вдоволь наглотавшись пыли, мы, наконец, добираемся до остановки.

Здесь стоит большой обоз арб с пшеницей из Янгибазара. В обозе внезапно заболела лошадь. Хозяин, толстый бородатый человек средних лет, задыхаясь от ярости, кричит на арбакеша:

— Мерзавец, сожрал коня! Подожди, я тебе покажу, сын собаки!

Арбакеш, парень лет девятнадцати-двадцати, оправдываясь, говорит сквозь слезы:

— Хозяин, никакой вины на мне нет, я бедный человек...

Какой-то старик из числа столпившихся здесь арбакешей склонился над лошастью, пощупал у нее за ушами.

— Перестань! — выпрямляясь, сказал он молодому арбакешу. — Издох, и конец делу. Может, мышьяки, может, еще какая болезнь, словом, издох и плакать теперь бесполезно. — И к хозяину: — А ты, свет мой, — этот парнишка смиренный, тихий — не трогай его.

— Тихий, видишь ли, этот сын распутницы! Лентяй он

и в лошадях ничего не понимает, мерзавец!— закричал хозяин.

Он внезапно набросился на парня и начал избивать его. Мне стало жаль беднягу, я заплакал. Старик-арбакеш побледнел. Оттолкнув в сторону парня, он закричал на толстяка:

— Хочешь зло сорвать, мошенник? Если нужно возмещение за коня, я сам уплачу тебе!

Хозяин притих, насупился. А старик уже распорядился, обращаясь к другим арбакешам:

— Довольно стоять! Разделите его груз по два мешка на арбу и давайте трогайте, чтоб засветло быть в Ташкенте. Надо помнить о деле!

Мой старичок долго стоял, глядя вслед удаляющемуся обозу.

— Меняются времена. Смотри, как он... на хозяина?!— сказал он, не то удивляясь, не то радуясь, и покачал головой.

Пробыв два дня в пути, мы вечером приехали в Янги-базар.

* * *

Отец, одетый поверх рубахи в длинный камзол, как и в первый раз, встретил меня на широкой улице.

— Идем, сын,— сказал он.— Помнишь насвайщика Карима, он звал к себе.

Вдвоем мы шагаем грязными, занавоженными пыльными переулками. Быстро сгущаются сумерки. Над горизонтом колышется нежный атласный занавес, но уже хмурится вдали величавая гора Козыгурт, и небо густо усыпано звездами. Прямо передо мной сияет вечерняя звезда. Я люблю ее: мне кажется, что здесь она и ближе и ярче, чем в городе.

Когда мы вошли во двор Карима-насвайщика, хозяин уже сидел с несколькими торговцами мануфактурой и лавочниками на глиняном возвышении на внешней половине двора. Увидев нас, насвайщик заулыбался и с места протянул нам кончики пальцев.

После нас пришли два-три лавочника. Все они здесь худые, тощие, скупые, и большей частью мелочные люди. Всех я их знал еще по лету прошлого года.

— Мусабай, что нового в Ташкенте?— спросил у меня рябоватый лавочник, пальцем выгребая из-за губы насвай. Я коротко рассказываю кое-что из того, что знал:

— В Ташкенте тревожно. Время трудное, простые люди голодают. Мастеровые возмущены, требуют, чтобы установили работать по восьми часов в день и чтобы плату прибавили... Нет хлеба, мяса...

— Эха!— вздыхает какой-то незнакомый мне пожилой лавочник.— Вон оно как. Николая убрали, и дела, значит, пошли все хуже. А радовались, мол: тирана Николая скинули с трона, кончился, мол, будь он проклят, белый царь, кричали «ура». И все-таки, по моему разумению, белый царь был хорошим, справедливым был, хоть и страх навел на людей. Люди боялись его. У полиции всегда были наготове плети, вот и порядок был. А сейчас? Нет сейчас порядка.

— Верно, верно!— подхватывает веснушчатый рябоватый мануфактурщик.— Какой там порядок! Временное правительство слабо ведет дело. Деньги Керенского — никчемные бумажки. И маленькие совсем,— говорит он и показывает кончики пальцев:— Вот такие всего. А деньги, они должны внушать уважение человеку.

— Э, рушится порядок, ваша правда. Цены, например, сами знаете, что ни день скачут,— вступает в разговор небольшого роста шеголеватый человек с узкими прорезями глаз.— Говорят, будто правовые дела возглавляют справедливые улемы. Им будто бы будут поручены дела веры, вопросы шариаата.

— Все это правильно!— дружно поддерживают его все лавочники.— Простым народом должны руководить улемы!..

Отец сидит молча, потом, ни к кому не обращаясь, говорит сдержанно:

— Да пошлет всевышний людям мир и спокойствие, времена настали трудные.— И прибавляет раздумчиво:— И все-таки знающие люди из народа должны найти правильный путь!

Хозяин выносит большое блюдо с нарыном, приготовленным из вяленого и присоленного мяса. Лавочники, забыв о политике, с возгласом: «Во имя аллаха!»— набрасываются на еду. А насытившись основательно, сверх того выпивают еще с десяток чайников чая и затем расходятся по домам.

Мы с отцом заворачиваем в пустую чайхану с тускло мерцающим чираком. Тесная и низкая, с обветшавшими дырчатыми кошмами, чайхана эта, кроме базарных дней по воскресеньям, почти все время стояла закрытой, и отец ютился в ней, когда не бывал в отъезде.

— Охо, Мусабай приехал!— воскликнул внезапно появившийся откуда-то чайханщик.

Отец велел ему приготовить для меня постель.

От усталости я заснул, как только голова моя коснулась подушки.

* * *

Отец каждый день отправлялся на рассвете верхом с хурджунами, набитыми ситцем, бязью, нитками, иголками, и возвращался лишь вечером. Только по вторникам и субботам оставался со мной, потому что в эти дни в степи у казахов не было базаров.

В один из таких свободных дней отец беседовал со своим другом, единственным здесь портным со швейной машиной, обшивающим казахов этой округи. Я приткнулся в сторонке, задумался о своей заветной мечте — о стригунке.

— Потерпи. Надо уметь терпеть, дурень,— говорит отец, догадавшись о моих заботах.

Я сразу оживился:

— А вы купите? Правда? Когда вы купите?

Портной, довольно невзрачный на вид человек, тихонько шепчет мне:

— Есть хороший стригунок, такой красавец!..

Отец сердится на своего друга, укоряет его:

— Перестань! Зачем смущаешь мальчишку? Прежде всего нужно деньги иметь.

Портной смеется, говорит, обращаясь ко мне:

— Во-первых, ты еще не можешь ездить верхом, худ, как щепка, слетишь с лошади. Немного поправиться надо, чудак. А поправиться ты сможешь, если станешь пить бузу. Буза, она полезная, как лекарство, казахи постоянно пьют ее.

Отец тотчас подхватывает:

— Верно, сын, верно! Буза и правда полезная, я сам пил.

Я понимаю, что оба они хотят отвлечь меня, чтоб не приставал с покупкой стригунка, но молчу. А когда они снова увлекаются беседой, убегаю на улицу.

С досады я отломил ком сухой глины, хотел запустить в кур, копошившихся в пыли, но, уже замахнувшись, остановился с поднятой рукой: среди кур оказался петух — и какой петух! — крепкий, коренастый, и сияет весь червонным золотом. В голове у меня внезапно вспыхивает мысль: «Вот бы поймать петуха! Такой петух ни одному боевому пе-

туху. в Ташкенте не даст спуску!» Я начинаю гоняться за петухом. Куры с истошным кудахтаньем разбегаются в паническом страхе. Петух, позабыв о своем достоинстве, тоже припустил, вытянув шею. Потом, отчаянно захлопав крыльями, перемахнул через дувал. Словом, на этот раз и здесь, я потерпел неудачу.

* * *

Однажды рано утром отец сказал мне:

— Сегодня пятница, базар в степи. Поедем со мной, сын.

Я хватаю свой старый войлочный колпак, надеваю поверх грязной рубахи пропыленный камзол. Отец, напичкав журджуны ситцем, бязью и разной мелочью, перекидывает их через седло, садится на иноходца. Упершись ногой в стремя, торопит меня:

— Ну, давай садись!

Как только я устроился на подстилке позади седла, конь сам трогается, словно понимает, что уже можно отправляться в дорогу.

Примерно через час пути по буграм и увалам мы добираемся до базара, который расположился на длинном пологом холме на невысоком плоскогорье в степи. Базар здесь довольно большой и оживленный. Казахи из дальних степей приобретают здесь все необходимое для себя. Узбеки из Ташкента, Чимкента, Янги-базара и из других мест привозят сюда выюками на лошадях аршинный товар (мануфактуру), местную бязь, сушеный урюк, орехи, джиду, изюм, разных сортов нитки, иголки, ламповые стекла и прочую мелочь.

Пока отец располагается со своим товаром, я привязываю в стороне коня, подбрасываю ему клевера и отправляюсь бродить по холму. Незаметно добираюсь до конского базара и тут вдруг вижу красивого рыжего стригунка. Хороший рост, шея чуть изогнута, сторожкие уши стоят торчком, глаза живые и по-человечьи осмысленные. Стригунк сразу пришелся мне по душе, буквально приворожил меня. Хозяин похаживает около него, то погладит по крупу, то потерплет шею. Я подхожу незаметно, глажу морду конька, легонько расчесываю пальцами короткую гриву. Спрашиваю не очень решительно:

— Сколько он стоит, дядя?

Толстый, почти круглый казах в белом войлочном колпаке и в чекмене из верблюжьей шерсти, с косящим левым

глазом передает повод работнику и самым равнодушным тоном лениво отвечает мне:

— Уходи отсюда, племянник, отправляйся! И стригуна оставь, не трогай! Зови отца, если конь понравился.

Краснея от смущения, я стараюсь объяснить ему, как важно для меня знать цену. Но толстяк отмахивается от меня:

— Валяй, валяй отсюда, не приставай! Не возьмешь ты, конь дорог. Беги, веди отца, тогда и торговаться будем.

Я опять пристаю, спрашиваю:

— Дяденька, милый, ну скажите цену!

Но хозяин стригуна только молча ухмыляется в ответ.

Я хорошо знаю, что отец не придет, сколько бы я ни просил его. Даже слушать не станет, оборвет: «Уходи, не приставай!» В последний раз обхожу вокруг стригунка и удаляюсь, расстроенный и приунывший.

Часа в четыре пополудни все кругом вдруг в одно мгновение заволакивается пылью. Внезапно поднимается сильный буран. Люди, растерянные, в тучах пыли разыскивают овец, коз, коней, верблюдов, ишаков. Неожиданно налетевший откуда-то вихрь еще больше умножает всеобщее замешательство. Я едва удерживаюсь на ногах. Отец, бедняга, растопырившись, припал к хурджунам. Хорошо еще, что он не успел запихать в них все свои товары. Оба мы — и отец и я — в пыли с головы до ног. А пыльные вихри появляются, волооча подол по земле, и верхушкой взмывая под самые небеса, исчезают и снова возникают один за другим.

Буран, продолжавшийся около часу, как начался внезапно, так же внезапно и затихает. Но базар, прерванный в самый разгар торга, уже не оживляется. Казахи понемногу начинают разъезжаться, угоняют баранов, лошадей, верблюдов. Купцы и разъездные торговцы тоже один за одним садятся на лошадей и отправляются кто в Бешиктау, кто в Караташ, кто в Чимкент, кто в Янги-базар. Мы с отцом едем не в Янги-базар, а совсем в другую сторону. Едем долго, — у меня уже в животе начинает посасывать. Отец все время хмурится, видно, недоволен базаром, то и дело достает из кармана пузырек с насваем.

Уже садится солнце, и горизонт пылает кроваво-красным пламенем. Повеяло вечерней свежестью. То там, то здесь завиднелись аулы. Молодые казашки шли кто за водой, кто встречать скотину. Женщины в огромных элечеках красовались серьгами, бусами, монистом. У девушек яркими маками цвели платки на головах.

Отовсюду слышалось перепелиное «пит-пылдык». А перепелки — моя болезнь.

— Смотрите, смотрите, перепелка! — кричу я, показывая отцу на внезапно взлетевшую перепелку. — Смотрите, вот она нырнула вниз!

Отец бормочет в ответ что-то неразборчивое.

Впереди показался казахский аул. Идут стада коров, телят, овец, коз. Кое-где женщины уже доят коров, овец. Кизячий дым от очагов тянется к небу. Отец сразу повеселел, заулыбался.

Подъехав к аулу, мы слезаем с коня. Женщины приветствуют нас низким поклоном. Из юрты, у которой мы остановились, выходит старик. Он здоровается с нами:

— Ассалам алейкум!

— Это мой сын, озорноват несколько, — говорит отец.

Поздоровавшись за руку, старик приглашает нас:

— Что ж, проходите в юрту, прошу!

Отец с хурджунами через плечо входит в юрту, вздохнув с облегчением, садится. Я опускаюсь рядом с ним. Юрта средняя, но чистая. Отец, поговорив о том, о сем, вдруг приказывает старику:

— Кстати, подложите корма коню, чтоб не стоял голодным.

— Хорошо, почтенный, сейчас, сейчас, — говорит старик.

Я удивляюсь и, когда хозяин выходит, говорю отцу:

— Стыдно же так, дада!

Отец весело смеется, тихонько поясняет мне:

— У них много кормов, дурень. И по натуре они все щедрые.

Я задумываюсь. А отец продолжает, улыбаясь:

— У них такой обычай: если прибыл в аул гость — верховой ли, пеший ли, знакомый ли, незнакомый, в холод ли, в жару, в снежную бурю, все равно — казахи хорошо принимают каждого. Сена, клеверу — пожалуйста. Бедняк ли, богач ли, всю еду поставят перед тобой, что есть — по достатку. Это исстари стало обычаем у казахов.

Внимательно оглядевшись по сторонам, присмотревшись к сундукам, шкатулкам, паласам, кошмам и обрешетке юрты, я говорю отцу:

— Юрта неплохая, видно, хозяин человек обеспеченный.

— Наверно, — говорит отец. — Коров-телят, овец-ягнят у него порядочно.

Вернувшись, старик разостлал дастархан. Поставил перед нами масло в небольшой чашке и в чашке побольше

баурсаки. Затем, предварительно взболтав содержимое кожаного меха, налил отцу в чебольшую крашеную деревянную чашку кумыса. Отец со словами: «Во имя аллаха!» — выпил кумыс и возвратил чашку старику. А я с голоду налег на баурсаки. Старик и мне подал чашку кумыса.

— Пей, джигит, пей!

Я жадно припал губами к чашке, но опорожнил ее лишь до половины и поставил на дастархан:

— Какой крепкий!

Старик засмеялся:

— Слабоват ты, оказывается, малыш.

— Он же ташкентский, не привык еще. В Ташкенте ведь кумысу нет, уважаемый, — говорит отец. — Зато он у меня грамотный, и письмом владеет, и книги умеет читать, даже коран без запинки читает по памяти.

— Вай-буй, правда?! Такой ученый?! — удивляется хозяин. — Наука — дело хорошее. А у нас никто не знает грамоты.

Молодая женщина вносит большую чашу бешбармака. Мы быстро расправляемся с этим кушаньем, в котором больше мяса, чем теста, и, пробормотав благодарственную молитву, проводим руками по лицу.

Я тихонько встаю и выхожу наружу. В небе уже поднялась луна, круглая, как колесо. Сквозь обрешетку юрта там, то здесь мерцают тусклые огоньки чираков, пламя очагов. Свежий ветерок доносит смешанный запах разных трав. Где-то в темноте звенит песня. Слышится непрерывный лай собак и время от времени — блеяние овец и коз. Конь наш с хрустом поедает свежий клевер.

Я долго брожу, перебирая в памяти свои впечатления за день. Смотрю на звезды. Потом возвращаюсь в юрту и сразу валюсь в постель.

Утром просыпаюсь, а отца рядом нет. Старик хозяин, кончив молитву, поворачивается ко мне, улыбается:

— Отец твой сбежал, бросив тебя.

— Неправда! Сегодня четверг, на базар, наверное, уехал?

Хозяин продолжает улыбаться.

— Вставай, свет мой, — говорит он. — Погода хорошая. В арыке ледяная вода журчит, иди умойся.

Я встаю с постели, выхожу наружу. Из-за гор, позолотив облака, поднимается солнце. Я спускаюсь в овраг позади юрты. С наслаждением умываюсь (вода в ручейке и правда ледяная) и возвращаюсь в юрту. А после завтрака, состоявшего из баурсаков и кислого молока,

иду с женщинами и ребятами собирать курай. Вдали виднеются стада овец, ягнят. Я бегу по косогору, останавливаюсь около пастуха, худощавого старика с морщинистым лицом и реденькой бородкой, в грязном войлочном колпаке, в грубом рваном чекмене и латаных чариках. Приветствую его:

— Ассалам!..

Старик внимательно посмотрел на меня. Спрашивает:

— Откуда ты?

— Из Ташкента. А сюда к знакомым приехали.

Старик прилег на бок, я подсел к нему. Начинаем беседу.

— Дедушка, скажите, волки есть в этих местах? — интересуюсь я.

— А как же, есть. Появляются, свет мой.

— А какие они бывают, волки? Говорят, они душат барана, сразу вскидывают на спину и уносят.

Старик смеется:

— Неужели ты не видел? Никогда не видел волка?!

— Нет-нет, никогда не видел. Даже не представляю, какие они. Слышал только, что злые... от бабушки, от матери, от товарищей.

Старик сплевывает насвай. Подумав, говорит:

— Волк злой, хищный зверь. При одном слове волк у пастухов душа подступает к горлу. Волчий род жаден до овец. Овца она смиренная тварь. А волк тихонько подберется и выжидает, оглядывая стада. Потом сразу бросается, душит овцу и убегает, вскинув ее на спину. Но пастухи, они сметливые. Собаки у них тоже чуткие и в хитрости не уступят волку. Есть такие, что в открытую схватываются со зверем. Случаев всяких с волками много можно рассказать, сын мой, только слушай.

Я даже рот разинул:

— А ну, расскажите, дедушка, хоть один. Говорят, волки и на лошадей и на ишаков набрасываются, это правда?

— Верно, сынок. Если волк голоден, он становится донельзя свирепым, и лошадь и ишака может зарезать.

Мне сразу пришелся по душе этот мудрый и знающий старик. Но беседа наша была неожиданно прервана. Откуда-то появились двое конных: один лет тридцати пяти-сорока, расфранченный, с плоским красным лицом и с недобрый взглядом прищуренных глаз, второй молодой худощавый джигит с жиденькими усами. Я вскочил, поприветствовал их саламом. Но всадники даже не посмотрели

на меня, только бормотнули что-то в ответ. Старик тоже не торопясь поднялся.

— Почему ты оставил скот и болтовней занимаешься тут? — закричал на него красномордый.

Старик, заметно смущенный, начал было оправдываться:

— Господин, скотина пасется спокойно, и пастухи все на местах...— Но сразу же овладел собой.— Ну, а вы, наверное, уже в Турбате побывали? Проигрались подчистую и теперь — кошелек пуст, хурджуны пусты — на нас зло срываете?

— Старый пес, тебе-то какое дело? Или ты моему скоту хозяин? — Багровея от ярости, бай поднял плеть, но ударить видимо не решился. Пробормотал только: — Борода седая у тебя, а то бы...

Видимо не зная, на ком сорвать зло, он вдруг повернулся ко мне:

— А это что за сартенок? Убирайся отсюда! Отправляйся своей дорогой!

Я понимаю, что спорить с ним бесполезно, молча поворачиваюсь и возвращаюсь в аул.

В ауле много подростков, ребят — моих сверстников. Я быстро перезнакомился со всеми. Вместе с ними ездил верхом и на коне, и на ишаке, и на муле, побывал у конских табунов, овечьих отар. Вместе с женщинами и детишками собирал кизяки, курай на топливо. Не в пример тому, краснорожему баю, эти люди действительно были душевными, отзывчивыми и щедрыми в своем гостеприимстве.

Через три дня приехал отец.

— Ну как, — спрашивает, — пить кумыс научился? Поварилось тебе в ауле?

— Мне было хорошо здесь. Много товарищей нашлось, — ответил я. И это была правда.

Попив чаю и немного отдохнув, отец на прощанье подарил хозяину юрты пачку чая и пригоршню сахара. Мы сели на ишходца и отправились в Янги-базар.

В Янги-базаре я не стал задерживаться, вскоре уехал в Ташкент и наутро, перекинув через плечо сумку, уже пошел в школу.

В школе все было по-прежнему: тот же нудный галдеж, та же непрерывная зубрежка. Только учитель наш теперь передко среди урока, прервав занятия, начинал жаловаться на смутность времени, твердил, что умножается число лурных людей, и наставлял нас: «Да облегчит всевышний все наши затруднения!.. Уважайте улемов, дети мои, по-

мните о шариае, о судном дне. Улемы — единственные наставники народа, его заступники и руководители!»

После школы я, как всегда, провожу время на улице, на крышах, на гузаре.

* * *

Большая часть жителей квартала Гавкуш ремесленники. Ахмад и Агзам поступили учениками к сапожнику. Я часто захожу к ним. Сапожник, полный, коренастый человек. Руки у него всегда в работе, и на секунду не знают покоя, но сам он веселый, и поболтать любит.

Однажды, как только я переступил порог мастерской, Ахмад, проворно соскочив со своего места, бережно взял с полки в нише толстую книгу и протянул ее мне:

— Взгляни-ка!

Я с интересом перелистываю книгу. Спрашиваю, шупая обложку:

— Где ты взял? Совсем новая!

— Накопил денег и вот купил, — улыбается Ахмад.

— А ну, почитай нам, грамотей, а мы послушаем. Хорошая книга, одни сравнения от начала до конца, — говорит мастер, поправляя очки.

Книга эта — перевод с персидского, она состояла из легенд и мифических сказаний о богатырях, о жестоких войнах и сражениях. Ахмад, продолжая забивать в кауш деревянные шпильки, слушает, весь отдавшись рассказу, сосредоточенный, словно мысленно пытается разобраться в прочитанном. Агзам старательно строчит дратвой голенище ичига, лежащего на коленях, а сам волнуется, вздыхает время от времени: «Ух, ну и удалцы», Или: «А кони у них, как облака быстрые!»

Я читаю без остановки. Звон наводящих ужас богатырских мечей, посвист стрел, поединки на копьях со щитами, искусство и отвага богатырей, хитрость и коварство женщин — все это рушится на моих слушателей без перерыва.

Агзам не может спокойно сидеть, волнуется, переживает.

— Люди в те времена были исполинами, как дивы, — говорит он. — Голова с котел, ростом под небеса, плечи — мостом между двух гор могли служить. А потом мельчали, мельчали и вот мы уже стали с кошку.

— Постой, помолчи! — сердито прерывает его Ахмад. — Битва в самом разгаре, дай послушать.

В книге между описаниями шумных сражений есть та-

кие яркие места, такие чудесные рассказы, что невольно захватывают мое воображение и уносят меня в далекие края.

Мастер опрыскивает кожу водой: «Пуф-пуф», ухмыляется, пристает к Ахмаду:

— Вот, Ахмадбай, был бы ты возлюбленным пери...

— Сказал бы я вам, мастер, словечко, — перебивает его Ахмад, — да вы мне в отцы годитесь, жалею. — И ко мне: — Давай, Мусабай, читай про Рустама-дастана, про Афросиаба!

Я продолжаю чтение. Переживаю из-за богатырей, погибших в бою, время от времени незаметно смахиваю невольные слезы. Вхожу в замки, в дворцы гордых цариц, вижу страдания влюбленных царевен в разлуке, ненавижу коварных соглядатаев, пылаю любовью к героям, подобным Афросиабу.

В мастерскую неожиданно вбегает запыхавшийся Тургун:

— Идем, быстро! Бросай свою книгу, все это брехня сплошная.

Положив закладку, я закрываю книгу.

— Что случилось?

— В нашем квартале идет такая потасовка! Идем быстрее!

— Ты что, караульщик квартала или миршаб? Не шуми, отправляйся отсюда! — кричит на него мастер. — Читай, Мусабай, дальше.

Я молча кладу книгу на полку и выхожу вслед за Тургуном на улицу.

— Эх, и знаменитый скандал там идет, вот позабавимся! — захлебываясь, говорит Тургун. — Расуль-орус со своими поденщиками схватился на кулачки. Поденщики требуют расчета, а Расуль отказывается, зря, говорит, требуете.

Расуль, слывший среди жителей квартала безбожником-кяфиром, никогда не посещавший мечети, однажды неожиданно заявился туда, покаялся перед имамом и дал обет построить минарет. Слово свое он сдержал, минарет строить начал, но очень экономил и всячески прижимал рабочих.

Я отмахиваюсь:

— Ну тебя! Тебе бы только драками забавляться! — и тащу Тургуна на Шейхантаур, где по слухам должно было состояться какое-то собрание.

Во дворе мечети на Шейхантауре толпится народ. Много молодых людей в ярких шелковых халатах, надетых поверх чесучевых или белых коломенковых камзолов, среди них немало франтов, одетых с явной претензией на шегольство. То там, то здесь белеют огромные чалмы, обладатели которых облачены в просторные полосатые или из шелковой бенаресской ткани халаты. Но большинство — люди бедные в грязных латаных халатах или в длинных рубахах и в грубых каушах на босу ногу.

Прислушиваясь к разговорам, мы с Тургуном обходим двор и затем опускаемся на корточки, прислонившись к стволу толстого карагача. Неподалеку от нас на террасе вокруг стола, покрытого потертым сукном, расположился президиум из десяти-пятнадцати человек — все ученые-интеллигенты, в большинстве джаиды.

На трибуне рядом со столом — оратор, одетый в коломенковый камзол, человек с тонкими усиками, острыми жесткими глазами, покатым лбом и с бархатной тубетейкой на бритой макушке. Брызгая слюной, он долго говорит о «славном прошлом Туркестана», о вере, о шариае, о «напоенных национальным духом обычаях и установлениях». Восхваляет Временное правительство и обещает возвращение былой славы Туркестана, если «объединятся в основном люди достойные — богатые купцы, владельцы больших поместий». Определяет, как главную задачу: «по-настоящему, помня о святости веры, развивать школы и медресе введением таких наук как геометрия, астрономия, математика и им подобные. Наконец, уморившись, умолкает, занимает свое место за столом и тут же кидает под язык горсть насвая.

Тургун толкает меня локтем под бок:

— Пошли, пройдемся по кладбищу. Ребята, наверное, там в ашички играют.

— Постой, послушаем немного, — говорю я и показываю пальцем в сторону президиума. — Смотри, вон новый говорун выходит на трибуну.

Но Тургун машет рукой:

— Э, чего тут интересного? — Оттолкнувшись от карагача, он решительно вскакивает и исчезает куда-то.

Ораторы и правда, будто сговорившись заранее, все как один прежде всего напоминают о вере, о шариае, затем восхваляют Временное правительство и твердят о «постепенном, с помощью аллаха, прогрессе Туркестана».

Из толпы кто-то кричит:

— Ей богу, ну что это за разговоры? Все только и знают читать наставления. Народ в хлебе нуждается, а не в наставлениях! Почему улемы, баи, ученые ни словом не обмолвятся об этом?

Я срываюсь с места и стараюсь пробраться к бросившему реплику.

Им оказался знакомый сапожник, работавший в маленькой тесной мастерской у Баянд-мечети. К нему подступили несколько щеголей в шелковых халатах, орут на него с пеной у рта:

— Убирайся отсюда! Проваливай, нечего сеять смуту в народе!

Вокруг слышится ропот, возмущение. Я подхожу к сапожнику, отдаю салам. Тот улыбается:

— А, и ты здесь?

— Я уже давно сиюю, слушаю, — отвечаю я и, понизив голос, шепчу с искренним восхищением: — а вы здорово поддели баев, мастер!

Сапожник, усмехнувшись, молча кивает в сторону преидиума.

Из-за стола поднимается плотный приземистый человек, с черной, коротко подстриженной бородой. На нем — просторный шелковый халат, одетый поверх новенького чесучевого камзола, на голове — изящно намотанная, сверкающая белизной чалма. Это один из руководителей шураисламистов по прозвищу Кары.

Кары говорит густым басом внушительно, подчеркивая каждое слово:

— Господа! Досточтимые улемы! Туркестан встает на ноги, избавившись от векового мрака. Наш небосклон проясняется. В Петрограде у власти встали очень разумные и распорядительные люди во главе с известным нам господином Керенским...

Видимо, уловив настроение собравшихся, он упоминает о дороговизне: «Дороговизна растет сверх всякой меры, бедные, неимущие терпят нужду. Но, положившись на аллаха, будем надеяться, что затруднения этим придет конец, и наш народ получит довольно и ячменя и пшеницы». Даже бросает упрек баям за то, что «глаза их не видят ничего, кроме своего кошелька». Но суть его речи сводится все к тому же призыву: «Объединиться досточтимым улемам, баям и ученым-интеллигентам и, перепоясавшись поясом рвення, с усердием и верой решить главную задачу: вызволить народ — ремесленников, рабо-

чих — из тьмы невежества, воспитывать их, наставлять в вере ислама».

Заканчивает он обычным: «Омин! Да облегчатся все наши затруднения!» и, улыбаясь на довольно жидкие хлопki в ладоши, отходит к столу.

Время уже позднее. Ко мне возвращается Тургун. Не сговариваясь, мы проскальзываем к выходу и бежим домой.

* * *

Побродив по улице, я захожу в одну из сапожных мастерских нашего квартала. Хозяин мастерской — добродушный, с рыхлым ноздреватым носом, уже довольно старый человек, но живой и общительный. А единственный его подмастерье, смирный и тихий ферганец, не в пример хозяину большой молчун. Мастер иногда начнет рассказывать какую-нибудь побасенку, а подмастерье строчит себе голенище ичига и только хмыкает: «Хм... хм...» Мастер в конце концов выходит из себя, сердится:

— Что ты сидишь, будто воск закусил? Разговаривай! Но и работы не прерывай. Жизнь, она беспокойная, нудная, чтоб не посмеяться, не пошутить — никак нельзя. А ты — сидишь, молчишь, только гляделки свои тарачишь. Тридцатый год тебе, а ты — ни «тпру», ни «ну»...

У подмастерья был товарищ, рабочий хлопкового завода, тоже ферганец лет тридцати двух, рослый, плечистый, со смуглым лицом, с острым взглядом и широким открытым лбом. Он иногда заходил в мастерскую поведать земляка. Когда я вошел, он уже горячо говорил мастеру:

— Вот такие дела, мастер. Русские рабочие очень не любят заводчиков и фабрикантов. Они ведь тоже бедные, как и мы все. В мощну фабрикантов, заводчиков, баев, купцов, особенно хлопковиков, деньги валом валят, они хлеще прежнего кутят, распутничают. Вот русские рабочие и говорят: «Белого царя скovyрнули с трона, а буржуи, помещики все еще измываются над нами. Теперь черед дошел до буржуев, их тоже надо спровадить в тартарары!»

Мастер долго сидит, хмурит брови.

— Я понял, сынок, — говорит он. — Рабочих, дехкан, всех нуждающихся очень много на свете, им счету нет. А баи, купцы, ростовщики, земли владельцы и все прочие дармоеды на горбу у них сидят. И правда, насилие всякие пределы перешагнуло. Вот, если бы нашелся знающий, разумный, справедливый и мудрый вожак, голова! Чтоб мог отделить скорлупу к скорлупе, а ядро к ядру. Да где он, ведь нет его.

Рабочий достал из кармана пачку дешевых папирос, закурил. Сидит, дымит, задумался. Подмастерье снял с правила ичиг, молча отложил его в сторону и вдруг запищал тоненьким голоском:

— Вот, если бы пророк наш Мухаммад алайхсалам вдруг поднялся, тогда сразу были бы облегчены все наши затруднения!

Рабочий и мастер некоторое время смотрят на него с удивлением. Потом рабочий раздражается громким смехом, говорит, обращаясь к подмастерью:

— Чудно! Таким молчуном был ты, Махмуд. — И уже серьезно продолжает: — Какая польза вспоминать пророка? Ты думай о нынешних наших бедах. О голодном, разутом-раздетом народе думай. Баи наши скупые, жадные, а сынки их предаются разгулу. Вот, об этом поразмысли.

Подмастерье опять пропищал:

— Э, все от бога, все в воле божией...

— Я не против аллаха, — говорит рабочий. — Но ты взгляни на жизнь. Богачи и владельцы земли — все низкие, подлые люди. А народ голоден, разут-раздет.

Мастер опрыскивает кусок кожи водой, расправляя его, говорит сердито:

— Пусть подчистую сгинут все купцы и все буржуи! Мудрый, разумный и почитаемый всеми вожак нужен нам. Только ведь нет такого вожака.

— А вот и есть. И из мастеровых есть люди, понимающие дело, и вообще среди русских есть люди знающие, ученые. Все науки идут от русских. И организации есть у них, я знаю.

Мастер удивленно приподнимает бровь. Говорит:

— Учение — дело хорошее. У ученого человека и ум полнее, он все может знать, что только делается на свете. Мы все, к сожалению, сплошь темные. Но ты, Садык, должен сказать, здорово говоришь по-русски. В тот день, помнишь, когда приходил этот мастеровой, я диву дался, как ты запросто щебетал по-ихнему. Ты, Садык, обязательно приставай к ним, к русским рабочим.

Садык, довольный, говорит, покручивая ус:

— По-русски я мало-мало говорю, а вот грамотой не владею. Побегал немного в школу, да в доме начались затруднения, навалилась нужда. А учителю каждый четверг надо нести сдобных лепешек, пирожков с мясом и прочее. Я и забросил учение. Поскитался по Фергане, потом приехал в Ташкент, на завод поступил. Я и сам думал пристать к русским рабочим, но как-то все не могу

решиться. Впрочем, посмотрим, посмотрим. Краем уха слышал я, будто бы рабочие Петрограда собираются скинуть Временное правительство. Рабочие Ташкента тоже по-моему усиленно готовятся к чему-то.

В мастерскую неожиданно входит Расуль-орус. Ему уже под шестьдесят, у него гноятся глаза, но он все еще торгует железным ломом, тряпьем, старьем, недавно женился на хорошенькой девушке, постоянно полупьян и не дает покоя жителям квартала.

Остановившись у порога, Расуль сердито тычет перед собой палкой:

— Так, мастер, о чем это вы болтаете тут с тем вон джигитом? Он что-то трепался насчет мастеровых.— Он вдруг изрыгает непристойное русское ругательство. Потом поворачивается к Садыку, кричит, стукнув палкой об пол:— На хлопковом заводе работаешь? Обязательно донесу на тебя баю! Рабочий должен быть предан хозяину, а не разводить смуту. Так что, смотри у меня, знай, куда ступить, иначе кубарем полетишь и угодишь прямо за решетку!..

Мастер, Садык, Махмуд застыли, ошеломленные. Первым спохватывается мастер.

— Тебе-то какое дело? — разозлившись, говорит он.— Ну, поговорили тут о том, о сем. Насчет богачей позлословили малость.

Расуль прищурил трахомные глаза.

— Расхваливаете мастеровых, снюхались уже, шушукаетесь тут, знаю!— и показывает палкой в сторону мастера.— Это от тебя исходит всякая смута, мастер, напасть на твою голову! Смотри у меня, не покаешься, голову сниму!

— Убирайся отсюда! Иди в мечеть, там тебя каменщики ждут с деньгами. Пусть минарет твой до небес достанет и тебя к самому престолу всевышнего вознесет, старый пехтук! — выходя из себя, кричит мастер.

Молчун-подмастерье фыркает и громко смеется в глаза Расулю.

— Валяйте, валяйте! Топайте домой и перебирайте четки. Да на молитву в мечеть не опаздывайте, вы дали обет мулле, а то как раз шуганут вас в преисподнюю.

Мастер и Садык негромко смеются.

— Мы пошутили, Расульджан,— говорит мастер уже серьезно.— Сам знаешь, жизнь настала трудная, дороговизна. Людям с достатком все равно, а у нас много забот, горя.

Расуль, обругав мастера, закуривает папиросу. Говорит:

— Остерегись, мастер, иначе быть тебе в аду! — и уходит.

После долгой беседы, близко к часу вечерней молитвы Садык попросался и ушел на завод. Мастер с подмастерьем отправились домой. А я, встретившись с ребятами, задержался на улице до позднего вечера.

* * *

В среду утром, сговорившись с Тургуном, я подошел к его матери:

— Тетя, отпустите Тургуна, мы ходим на базар. Он ловкий, сразу найдет покупателя. Мы быстро продадим тесьму и сейчас же вернемся.

— Ты всегда так, — недовольно ворчит мать Тургуна — улестишь-обманешь меня и уведешь его невесть куда. Сегодня мне постирать надо, пусть за детьми присмотрит, воду поможет таскать, дров нарубит.

— Да вы оглянуться не успеете, как мы прибежим! — говорю я, подмигивая Тургуну.

И вот, я уже рыскаю по торговым рядам с тесьмой, вытканной матерью. А рядом со мной хитрец и пройдоха Тургун.

Народу на базаре много. Особенно старух, молодых женщин и девушек. И все продают тесьму, тюбетейки, вату, мотки пряжи. Лавочники обманом-уговорами морочат женщинам голову и почти задаром берут их товар. Но я свое дело знаю, а Тургун и вовсе мастак по части продать-всучить.

На Эски-джува есть чем поразвлечься. Вот латальщик обуви, починая чьи-то ичиги, гундит что-то себе под нос — доволен, наверное, что представилась возможность заработать несколько медных монет. А вон рябой Махсум-журавель, потряхивая своими лохмотьями, веселит народ: надует щеки и выбивает на них барабанную дробь, — тоже старается зашибить копейку. Нишим, ворожеям-гадальщикам, попрошайкам — счету нет. Вот толпа странствующих дервишей — в рубищах, в высоких конусообразных шапках — ходит по базару, выкрикивая: «О аллах, истины друг!» — в руках длинные посохи, а у поясов тыквянки для сбора подаяний.

Тургун любил злить дервишей.

— Лентяи! Дармоеды! Анашисты! — выкрикивает он и убегает со всех ног. А я — за ним.

Расположившись на земле, жужжат своими смычками чинильщики посуды. Мы останавливаемся около одного.

— Бой-бой, как он ловко орудует смычком! — говорю я.

— Да, вот это занятие! — говорит Тургун. — Смотри, раз — и готова пиала. Вот, наверное, загребает человек деньгу. Конечно, я обязательно стану чинильщиком посуды!

Мастер улыбается:

— Говорят: кувшины бьются не в урок, но каждому кувшину дан свой срок. Что ж, добро, становись чинильщиком посуды, малыш!

От чинильщиков посуды мы идем к хозяину «панорамы», важному на вид усатому старику с запрятанными под ключьями густых бровей глазами. Обычно тихий и приветливый, человек этот показывал через окуляры разные снимки — пустыни Аравии, реку Нил, пирамиды, виды Багдада, улицы Стамбула, мечети Айя-Софии и Султана Абдул-хамида. Развлечение стоило копейку, но у нас, к сожалению, нет ни гроша. Оба мы тихонько подсаживаемся к старику.

— Дедушка, милый, можно разок посмотреть? Только в долг, сегодня у нас нет денег. Завтра я обязательно добуду копейку, ладно? — спрашивает Тургун.

Старик, отпивая из пиалы чай, ворчит:

— Давай, давай, уходи отсюда! Не трогай трубы. Нет денежек — все, и не мечтай об Аравии, о Стамбуле!

— Тогда сиди тут один и корми собой мух! — насмешливо говорит Тургун, вскакивая с места.

Время — близко к полдню.

— Идем, друг, надо быстрее продать тесьму, — говорю я и, разделив тесьму на две части, одну отдаю Тургуну. — Смотри, не подкачай, как следует торгуйся с покупателями, хорошо?

— Не учи, сам знаю, — отмахивается Тургун.

Мы опять отправляемся на толкучку. «Вот тесьма! Хорошая тесьма! Редкостная тесьма!» — рыская по базару, кричит Тургун. Женщины бранятся, глядя на него: «Шайтан, настоящий шайтан! Путается всюду под ногами. Смотришь, исчез, не успел оглянуться, он уже тут как тут!» А Тургун, раскрасневшийся, знай расхваливает тесьму, сует ее чуть ли не под нос каждому встречному.

Набегавшись до усталости, мы в конце концов все-таки успеваем продать тесьму, правда, немного дешевле, чем хотелось бы. Пересчитав выручку, я крепко завязываю

деньги в поясной платок, и мы еще долго бродим по базару, дергая за хвосты лошадей, верблюдов, ишаков, мулов. Потом возвращаемся на Эски-джува. Тургун тащит меня в медресе «Беглар бегим»:

— Смотри, сколько там знатного народу собралось!

Во дворе медресе и правда собралась тьма народу: чалмоносцы в огромных чалмах, студенты медресе, пузатые бай... Один за другим выступают ораторы и все большие улемы.

Тургун подталкивает меня в бок:

— Пошли! Болтают, болтают, только и знают читать наставления. Бедняки голодные, голые, а эти все кричат о вере. Лучше бы хлеба дали!

Я громко смеюсь:

— Верно, друг! Твоя правда.

* * *

Сидим мы в тесном дворике позади мечети на берегу арыка, протекающего между густых талов, и громко зубрим на разные голоса. Учитель расположился в стороне на свернутом вчетверо одеяле. Рядом с ним тучный бай, в новом сияющем легком халате без подкладки, с огромной чалмой на голове и с розой за ухом, — левой рукой он легонько шевелит кончик густой бороды, а правой пропускает меж пальцев янтарные четки. Я сижу близко и слышу их разговор. Учитель время от времени подливает в пиалу крепкого чая и с должным почтением подносит баю.

— Положение очень трудное и очень путаное, уважаемый, — говорит бай. — Улемы своими наставлениями и научениями, с великим трудом, правда, начинают подтягивать поводья черному народу, иначе бы люди совсем отбились от рук, но... Не знаю, последние, что ли, времена настают, — много развелось дурных людей, смутьянов и бунтовщиков. Слышал я, будто какие-то профсоюзы, что ли, будь они прокляты, объявились, а к чему они, не могу уразуметь. И ремесленники будто бы уже стакнулись с русскими, мутят народ. А там кое-кто из этих еретиков-джадидов вопреки разуму требует какой-то «реформы школы», попирая тем самым шариат. Да, время настало трудное, почтенный, и нам ничего не остается, кроме как обратиться с молитвой к богу, он один в силах облегчить наши затруднения.

Учитель поддакивает ему, подливая в пиалу чаю, и строго поглядывает на учеников.

— Бой-бой-бой, какая жара, а, почтенный! — говорит бай, опахиваясь платком и отирая пот. — В России, особенно в Петербурге, как я слышал, тоже нет порядка. Его величества белого царя не стало — и началась смута. Временное правительство понемногу наводит порядок. Так что придет время, все уладится. К тому же есть слухи, что аристократы и руководители правительства в Петербурге возможно нового царя поднимут на трон. Досточтимые улемы и люди достойные, с достатком, должны оказать великое рвенние, чтобы наставить народ на правильный путь, на путь покорности властям. Время сейчас, как полая вода беспокойная. Но, даст бог, умиротворится.

Бай и учитель беседуют долго и в дружном согласии. В полдень бай поднялся, потянувшись, вытер пот с лица, потом попрощался с учителем и степенно, не торопясь, ушел со двора мечети.

Ученики уже устали, охрипли и проголодались. Перешептываются: «День-день, наступил полдень! Школярюв доля — наступила воля!» Учитель говорит: «Все!» Ребята живо, громко, нараспев читают отрывок из корана, разом встают и в одно мгновение с шумом разбегаются.

Последнее время я стал увлекаться петушиными боями. Петуха я нарочно привез из Янги-базара (мне в конце концов все-таки удалось поймать того, золотистого!).

На этот раз моим противником оказался Ахмад. Я прежде всего оглядываю его петуха, а потом уже отпускаю на круг своего. Петухи схватываются, азартно треплют друг друга. Ребята притихли, а обо мне и говорить нечего, я весь дрожу от волнения, побледнел даже. Петух Ахмада силен. Но и мой бьется хорошо, не уступает ему. С бойцов летят перья, головы их покрываются кровью, они шатаются от изнеможения. Ребята начинают кричать: «Довольно, довольно! Пусть отдохнут немного». Мы разводим петухов. Я прижимаю своего к груди, глажу по перьям, целую в окровавленный гребень. Ребята уже спорят между собой, одного хвалят, другого хаят. А Тургун тихонько шепчет мне на ухо:

— Смотри, не загуби петуха! Петух Ахмада вредный и похоже сильный.

— Ладно, на то и риск. Но по-моему наш сильнее, я уверен.

Дав петухам передохнуть, мы опять бросаем их на круг. Бой разгорается сильнее прежнего. Оба петуха бьются отчаянно. Покружат, покружат и опять начинают трепать друг друга. Одно время кажется, что петух Ахмада одоле-

вает, но мой делает внезапный наскок один, затем другой, и тот не выдерживает, вдруг выскакивает из круга и убегает. Ребята поднимают крик, шум, свист. Я подхожу к своему петуху, подхватываю его, счастливый, дрожащей рукой поглаживаю ласково. Ребята толпой бегут за мной и тоже тянутся приласкать победителя, некоторые целуют даже. Так, гордый победой, сопровождаемый отрядом мальчишек, я шагаю домой.

* * *

Сентябрь... Однажды в голову мне приходит мысль заняться торговлей. Я пошел за советом к Тургуну.

— Знаешь, сейчас поспевают фрукты. Найдем дешевых яблок, слив у дехкан, потом сядем где-нибудь на углу и продадим. Что ты скажешь?

Тургун даже привскочил:

— Здорово! Вот это ты здорово придумал! Фруктов всяких на базаре много. Особенно быстро расходятся сливы, они же дешевые. Но ведь денег нет? А для оборота нужны деньги,— говорит он, подумав.

— У меня было накоплено немного, у отца, у матери выпросил в разное время, но, сам знаешь, во сколько мне перепел обошелся (было у меня и такое увлечение!), теперь осталось всего шесть серебряных монет по одной тьнге. Ты проси отца, Тургунбай, прибавишь столько же, и начнем дело.

Мы идем к Тургуну. Отец Тургуна, чахоточного вида человек, сидел на террасе, грелся на солнышке, прислонившись к стене и подложив за спину подушку.

— Дада, послушайте,— заискивающе говорит Тургун, опускаясь на корточки перед отцом.— На базаре много фруктов, ох и много!

— Правда, фруктов много, да вот денег нет у нас,— улыбается отец Тургуна.— Особенно, когда о дынях заговоришь, у меня слюнки текут, малыш. Корку хотя бы погладить...

Тургун сердится:

— Э, не поняли вы! Вы послушайте сначала, о чем речь. Мы с Мусабаяем на базар собираемся. У Мусабая есть шесть монет наличными, да я прибавлю столько же, купим мы слив по дешевке, у садоводов возьмем, поторговавшись как следует, потом вынесем их в Ак-мечеть и продадим в розницу.

Тут и я принялся обхаживать старика. Тот подумал-подумал и говорит:

А верно, придумано не худо. Только Мусабай, сынок, ты сам знаешь Тургуна, он привирает часто. Денег я дам, только как бы он не просл их на пельмени, на шашлык, на разные сладости.

Старик, бедняга, оторвался от подушки, достал из-за пазухи кошель. Пересчитав несколько раз, протянул Тургуну шестьдесят копеек серебром и медяками.

На фруктовом базаре торговля шла вяло. Народу почти никого, если не считать нищих и попрошайек. Мы рыщем всюду в поисках слив. Слив на базаре много, но дороги очень.

Наконец находим, как будто по нашему карману. Правда, они недозрелые, мелкие, даже мало чем похожие на сливы.

Тут к нам начинает приставать какой-то старик:

— Идите-ка сюда. Тоже мне — сливы! Тьфу! Воючие, есть никто не станет, — шепчет он тихонько. — Вы полюбуйте этими вот персиками! Смотрите, не успеешь языком шевельнуть, как сам проскочит в горло. И цена сходная...

Мы осматриваем персики.

— Ладно, давайте! Почем они? — спрашивает Тургун.

— По теньге за фунт. Почти даром, как вода в арыке. Очень дешево, светы мои.

Начинается великий торг. Поспорив, погорячившись, мы договариваемся по теньге без пятака за фунт и берем на шесть монет — половину нашего капитала. Хозяин отвешивает нам персики, стараясь подsunуть побольше раздавленных, гнилых, уже почерневших. Мы укладываем их в большущую корзину, прихваченную из дома. Покидаем базар и бегом спешим к Балянд-мечети.

На перекрестке у Балянд-мечети много чайных и мелочных лавок. Мы располагаемся на корточках на берегу водоема, поставив перед собой корзину.

— А ведь у нас весов нет, Тургун? — вдруг вспомнил я. — Что теперь будем делать, а?

— Стой, в кладовке у дяди я видел какие-то весы, — вспомнил Тургун. — Я сейчас сбегаю и принесу. Я быстро... Я остался у корзины один. Мимо проходят люди, большие и малые, а на персики никто и не глядит даже, никому до них дела нет. Если и появлялся какой покупатель, то шел прямо к лавкам напротив и покупал там свежие, хорошо созревшие персики.

Вернулся Тургун с весами — каждая чаша с котел, щепочки — одна короче, другая длиннее, есть даже веревки

вместо цепочки, гири — фунтовик обыкновенный, а вместо полуфунтовика кусок жженого кирпича.

— Продал что-нибудь? — спрашивает Тургун.

— Нет, покупателей нет.

Изредка к нам подходят мальчишки, старухи. Спросят о цене, постоят, постоят и уходят: «Гнилые они». Наконец, когда мы, подавленные неудачей, теряем всякую надежду, у корзины останавливается какой-то парнек. Повертел в руках персики, спрашивает:

— Почем они?

Мы вдвоем принимаемся нахваливать:

— Редкостные персики! И дешевые! По тениге за фунт!

— Свешай полфунта.

Тургун расправляет весы, отвешивает и, для почина, с походом:

— Вот, друг, какая сторона тяжелее — твоя!

Поздним вечером, когда на улице прекращается всякое движение, усталые, с весами под мышкой и с корзиной на голове, мы возвращаемся на свою улицу. Злосчастных персиков кое-как продано всего два-три фунта. Тургун подавлен, сердится, нервничает:

— Что ж я скажу отцу?

Мы оба обдумываем, как нам быть. Я, как кассир, еще и еще раз пересчитываю деньги. Подвожу итог:

— Три тениги и четыре копейки с полушкой. — Оставляю у себя мелочь, а три тениги протягиваю Тургуну. — Вот, бери три тениги. Отдай их отцу. Завтра мы пораньше встанем — и на базар. Продадим, друг, обязательно! Так что не огорчайся, входи домой веселый, чтоб старик не догадался, как у нас идут дела. А персики припречь подальше.

* * *

Мне нравится бывать у ремесленников — медников, жестянщиков, сапожников и слушать их рассказы, шутки, остроты.

— Ремесло медника — самое высокое, самое редкое из всех ремесел. Оно досталось нам от праотца Адама. А ему дано было по воле всевышнего архангелом Джабраилом, да пребудет над ним мир, из пределов райских. Так записано в уставе нашего цеха — цеха медников! — трогая длинную бороду, говорил мне старый медник.

— Самое благое и угодное богу занятие — бакалейная торговля, — уверял меня лавочник Карим. — Бакалейщик удовлетворяет нужды людей, снабжает их всем необходи-

мым. Вот, скажем, торговля солью. Соль — это приправа, которая делает нашу пищу съедобной и вкусной. Тысячу раз клади мяса, сала в котелок, а без соли пища вашей грош цена.

Я внимательно слушаю медников, лавочников. А когда наскучит, иду к сапожникам в одну мастерскую, в другую.

Вот маленькая тесная мастерская против Баянд-мечети. Имени сапожника я уже не помню, это безносый (на месте носа у него прилеплен кусок толстой белой бумаги), но до смерти франтоватый мужчина лет, наверное, тридцати, а, может, и меньше, не знаю. На голове у него всегда новая тюбетейка с вышивкой «цветы на лугу», на кистях рук нитки разноцветных бус. Особенно смешили меня эти бусы. У него был ученик, паренек лет семнадцати по имени Абрар, ради которого я собственно и заходил сюда почти каждый день.

Переступив порог мастерской, я приветствую мастера:

— Здравствуйте, мастер! Как дела? — и опускаюсь на корточки поближе к двери.

— Неплохо, братец, неплохо. И поговорить есть о чем, — улыбается мастер. Раскраивая на колоде кожу, он начинает без умолку болтать о всякой всячине.

Абрар, сидя у окошка на низенькой табуретке, продолжает молча заниматься своим делом. Потом вдруг спрашивает меня:

— Ну, Мусабай, как идет учение?

— Да все по-старому, надоело уже! — отвечаю я.

Мастер подхватывает:

— Э, учение это — дело сытых, бог для них придумал школы, а беднякам — куда там! Говорят, главный добыток — от ремесла прибиток, братец мой Мусабай. Шей ичиги, кауши, стрижкой-брижкой занимайся, становись медником, лавочником, или вот, как мы, сапожником, словом, учись добывать себе на жизнь. Доброму молодцу и сорока ремесел мало, говорят старики, — учись ремеслу.

— Ваша правда, мастер, ремесло — это клад. Но самый большой клад — это школа, учение! — блеснув в нашу сторону умными глазами, говорит Абрар.

— Ишь, разошелся! — усмехается мастер и тут же протягивает мне глиняную чашку. — А ну, племянник, беги, принеси воды!

Я охотно выполняю его поручение. Бегу к водоему, здесь же на перекрестке. Зачерпнув полную чашку воды, возвращаюсь в мастерскую.

Вслед за мной в мастерскую входит приятель мастера,

трамвайный рабочий, довольно убого одетый мужчина лет тридцати пяти. Едва поздоровавшись, он громко, во весь голос (такая у него была привычка) начинает что-то рассказывать мастеру.

Абрар молча тачает шов. По его лицу, по глазам видно, что он глубоко задумался о чем-то своем.

— Я работаю на Пьян-базаре,— говорит приятель мастера.— Трамвайные пути открываю то в одну, то в другую сторону.

— Ключи от трамвайных путей у тебя, говоришь? — смеется мастер.

— Да, вы угадали, мастер. Если бы я чуть задумался, прозевал, и трамвай вместо одних путей покатыл бы по другим, тут началось бы такое светопреставление — не приведи бог дожить до такого дня! — говорит рабочий.— Потому-то и нужно быть всегда настороже. Занятие мое не плохое, только жалованья маловато, чтоб его. Впрочем, кое-как хватает на пропитание моим цыплятам. Погонщики трамвая и ярлычники-билетеры получают получше. Но все равно из прибыли, какую дает трамвай, девять частей из десяти попадает в кошелек хозяев! Поняли, друг? Вот, в чем вся беда!..— Он на минуту задумывается и ведет речь дальше: — Николая скинули, и для таких, как мы, солнышко взошло вроде. Только поводья все еще в руках у богатей. Впрочем, ладно, пусть их, время теперь как-никак наше, мастер, в конце концов мы все возьмем в свои руки. У рабочих есть организация. Друзья мои и меня каждый день приглашают, вступай, мол, к нам, в профсоюз. А я, несчастный, русского языка не знаю, неграмотный — ни книгу почитать, ни газету — куда мне? — Он кидает под язык целую горсть насвая и задумывается.

Тут вдруг поднимает голову Абрар.

— Нет, братец! — горячо говорит он.— В организацию рабочих вы вступайте, и чем скорее, тем лучше. А читать, выучите азбуку и довольно,— читать не такое уж трудное дело!

— Да неужели?! — удивляется и радуется рабочий.— Тогда, пожалуй, надо подумать, посоветоваться с домашними.

— Веры ислама надо держаться! — говорит мастер.— Досточтимые улемы умеют различить, где белое, где черное, вот с ними и посоветуйся.

— Улемы, улемы! — сердится Абрар.— Нет, дядя, вам лучше всего держаться своих друзей-рабочих!

Беседа продолжается долго. Мастер и рабочий говорят

о жизни, о дороговизне, о войне. Я развожу клейстер, смолю дратву и по-своему стараюсь разобраться в том, о чем идет речь.

А на закате солнца бегу домой.

* * *

По своему обыкновению я выхожу к Баянд-мечети. На перекрестке только и разговоров, что о дороговизне, о росте цен на ячмень, пшеницу, жалобы, сетования...

Захожу в мастерскую знакомого парикмахера, общительного и словоохотливого человека.

— Что сидите, заскучили, или дело идет вяло? — спрашиваю, подсаживаясь.

Парикмахер потягивается: «Ху-у-у!», стонет: «Ох, ох, спина!». Потом говорит:

— Жить трудно, дружок. Дома пусто, в ячменном хлебе, и в том нужда. Наши почтенные баи не перестают кутить. Денег у них целые листы, полны кувшины золота. Вот оно как вертится, колесо судьбы, чудачок! Во всем свете дрянь-дело!

Я молчу, выжидаю, глядя на него. Парикмахер продолжает:

— Эй, послушай меня! Учитель твой отсталый человек, сгореть ему в могиле. Только и учения у него — коран да хафтияк.

— Ваша правда, очень все по-старинному, вы угадали.

— Учись, и все-таки учись, дурачок. По-русски учись, изучай русский язык, большая польза будет. Россия — огромная могчая страна. Рабочие, мастеровые, — он понижает голос до шепота, — рабочие, мастеровые говорят: земля, заводы, фабрики — все это принадлежит народу, понял ты, а? — И еще тише. — Но канители много предстоит, Мусабай. Владельцы земли, хозяева фабрик, заводов, богачи Туркестана выставляют вперед Временное правительство, обманывают народ. От тех, кто читает газеты, слышал я, будто в Петрограде члены правительства, богачи требуют продолжать войну до победы, прокляты! Да, братец, время трудное, беспокойное.

Парикмахер берет сделанный из тыквянки чилим, засыпает в него горсть табаку. Булькает водой в тыквянке, раскуривает от спички. Долго кашляет, выпуская в бороду дым. Грязным платком вытирает выступившие слезы.

— Ну, расскажи что-нибудь, чудак! — говорит парикмахер и неожиданно смеется: — Эх, плова с горохом бы

посеть! Пусть без мяса, ничего, был бы сверху острый лучок!.. Хай-хай-хай!..

Лицо парикмахера вдруг снова становится серьезным.

— Завтра-послезавтра наступит зима, а у бедных людей одежонка убогая и ни горсти муки. Что с нами будет, а, братец? Меня зло берет. Улемам до бедняков, неимущих дела нет; только бы вера крепка была да шарият. Только и знают твердят: молитесь-крепитесь, будьте кроткими, покорными, аллах облегчит все ваши затруднения.

Парикмахер с горечью говорит о своем собственном положении, о бедственном положении народа. Я поддакиваю ему время от времени. А когда он переходит к разным житейским мелочам, вдруг спрашиваю:

— Дядя, мне очень нравится костюм со штанами, я всегда завидую, если вижу на ком-нибудь такой костюм.

Парикмахер хохочет:

— Велик аллах! Фасон захотел давить, вай-вай! Вот подрастешь, станешь добытчиком и будешь одеваться, как тебе нравится. Однако одежда все-таки лучше, когда она подлиннее.

— А почему лучше подлиннее? Ведь некрасиво, когда одежда длинная.

— Носить длинную одежду повелось у нас исстари — и прилично, и видно, что мусульманин. — Парикмахер чихает, откашливается. — Раз ты мусульманин — все, знай, куда ступать!

Вот, и пойми его. То бранит улемов, ругает учителя, а тут... «знай, куда ступать».

В мастерскую заходит какой-то усатый, плечистый человек. Парикмахер проворно вскакивает:

— А, приятель, жив-здоров? Ну как, немцы одолевают или русские? А каково положение рабочих? Рассказывай! — Он усаживает клиента на стул, закрывает ему плечи полотенцем и, смочив голову водой, принимается массировать ее руками, чтобы мягче были волосы.

— Э, друг, — говорит усач, — Николай скovyрнулся, и весь мир расцвел. Теперь осталось потерпеть еще немного, и будет покончено со всеми нашими муками-страданиями. Мы ведь только рвы-окопы рыли. Надоело, правда, но, как бы там ни было, вернулись живыми-здоровыми. Вот русские хлебнули горя. А какие они смелые в бою! Пришлось мне и в Петрограде побывать. Вот где рабочие отчаянные и бесстрашные! У них там есть сильная организация.

Парикмахер слушает, продолжая заниматься своим делом.

— Сгинуть ей, войне; душу вымотала! — говорит он, не отрывая рук от головы клиента. — А смотри, что с ценами делается!

— Верно, верно, перешагнули всякие пределы, — говорит усач. — Но, побывав на фронте, поговорив с рабочими, мы узнали, что к чему. Теперь сами выроем могилу богачам, буржуям и помещикам.

— Хвала тебе, братец, хвала! — восторженно говорит парикмахер. — Значит, все-таки правда когда-нибудь засияет вдруг, как солнце. Только ведь мы держимся веры ислама, общины пророка Мухаммеда, братец мой, Мир-Карим?

Мир-Карим улыбается:

— Вера — это одно, а буржуи — другое, отец!

Парикмахер доволен, смеется и со словами: «Во имя аллаха!» — начинает ловко скользить бритвой по голове Мир-Карима.

Неожиданно я вижу Тургуна: обливаясь потом, он с натугой тащит по улице свою сколоченную наспех тачку, полную мелкого, как пыль, угля. Я подбегаю к нему:

— Что такое, друг?

Тургун останавливается, вытирает рукавом пот со лба:

— Э, заботы всякие, из города иду. Отцов приятель дал вот угля, почти даром, можно сказать. На рассвете ушел и вот только вернулся. Проголодался, как собака, и щепотки соли еще не было во рту.

Я сочувствую бедняге Тургуну. Спрашиваю:

— Что, далеко угольный склад?

— Э, у самого вокзала. До сдоха уморился.

— Ну, хватит, хватит хныкать! Давай мне твою арбу, — говорю я и с трудом качу тяжело нагруженную тачку.

* * *

Пятница. Всюду уйма фруктов. Особенно много винограда всяких сортов: караджанджал, бедана, сахиби, дили, кафтар, буваки.

У меня глаза разбегаются, но нет монеты. Пешком я отправляюсь в Ак-тепе к дяде. Дорога покрыта горячей хлюпкой пылью. Я шагаю босой. Проворный и крепкий, быстро добираюсь до Ак-тепе. Бабушка Таджи, возвышаясь, словно купол надгробья, собирает на крыше просушенные зерна урюка. Она тотчас спускается по лестнице, обнимает, целует меня.

— Работы много. Дрова рубили, урюк подчищали. Скоро будем готовить патоку из винограда, придешь помочь?— говорит она, улыбаясь.

Глаза мои невольно тянутся к персикам, к винограду. А бабушка Таджи, усадив меня перед собой, надоедливо спрашивает о здоровье бабушки, матери, о других. Наконец, после долгих назойливых расспросов, берет нож, ведро и скрывается в винограднике.

Как только я остался один, ко мне подошел соседский мальчишка. На руке у него галка.

— Вот галка,— говорит он.— Возьми, хорошая птица.

Я обрадовался, потянулся к галке:

— А ну, дай посмотреть!

— Будешь давать ей понемногу мяса, она хорошо ест,— советует мальчишка.

От радости я обнял его. Потом осторожно накрыл галку большой чашкой.

Вернулась бабушка Таджи. Я здорово наелся винограда с хлебом. А потом решил прогуляться, вышел на дорогу. Здесь всюду хлопковые поля богатых землевладельцев. Как раз было время массового раскрытия хлопчатника. Десятки батраков и поденщиков собирали на полях хлопок.

Дорога, по которой я шел, привела меня к чайхане. Здесь собралось много народу. На деревянном помосте, растопырившись, гордо восседал какой-то бай: кустистые брови, толстый, почти круглый, с двойным подбородком.

— Ослепнуть ему! Содержал его, кормил, одевал, обувал подлеца! — ругал кого-то бай.

Я оглянулся и увидел сидящего на корточках в сторонке батрака, лет тридцати с небольшим, а на лице густая сетка морщин; крепкий, жилистый, но худой, как щепка.

— Страшись аллаха, проклятый! Был ты смиренным, покладистым человеком и вдруг испортился. Или ты спутался со смутьянами-отступниками?

Батрак побледнел, лицо его стало песчано-серым. В глазах вспыхнула ненависть.

— Довольно! Пожил, наелся помоев, намучился. Скоро восемь лет, как я в вашем доме, и изо дня в день, изо дня в день в работе: лошади, арба, пахота, сев, сбор хлопка, клевер — все было на моих плечах.— И обращается к собравшимся в чайхане:— Совести у него нет!

— А где ты шлялся три-четыре дня? Ну, говори! Станулся с мерзавцами, которые вернулись из России, встречался с русскими мастерами, по собраниям бегал, агитацию-наставления всякие слушал, мерзавец? Я все знаю,

ою

обо всем слышал! Отрекся от веры, от шарната? — говорит бай и по примеру батрака обращается к людям: — Помилуй, аллах, этих отступников накажет вера ислама. Гнев аллаха вызовут на весь народ эти проклятые!

Батрак резко вскакивает. Страхнув полы своего рваного камзола, садится на помост и требует чаю. Потом поворачивается к хозяину:

— Бай-ака! Вы и ругали меня всячески и били, я все терпел, ни разу слова не сказал поперек. Но когда-нибудь вы ответите за все ваши издевательства. Правда, справедливость когда-нибудь да выбьются на свет. А теперь довольно, давайте мне, что положено!

Бай, будто не слышит его, говорит улыбаясь:

— Ладно, простил я тебе твои грехи, свет мой, иди на работу. Только не водись с отступниками. Ну, довольно, довольно, отправляйся в поле, хлопок не ждет. Скоро зима настанет. Пострадать немного — это и пророк велел. Я же на правильный путь хочу наставить тебя, дурень! — И тут же поворачивается к друзьям-приятелям: — Трудное дело приучать людей к работе. Все они упрямые, своевольные.

Один из зажиточных согласно мотает головой:

— Верно, бай-ака, меняется время, рушится порядок.

В чайхане сидит кучка батраков, они пьют чай, перешептываются. Батрак бая снова поворачивается к хозяину:

— Хватит, мы довольно положили сил! Теперь сами поработайте на своих полях. Попробуйте попотеть, тогда узнаете.

Бай бледнеет от злости.

— Вы смотрите, что он говорит?! — взывает он. И к батраку: — Подлый родом, мерзавец, ослепнуть тебе! Со звоном денежки отсчитывал тебе, мошенник, и вот, как ты отблагодарил!

Один из батраков, обращаясь к баю, говорит учтиво:

— Бай-ака, будьте же справедливы! Этот бедняга восемь лет в холод, в снег, в дождь, в жару честно трудился. Мучился, не знал покоя. Возможно, он взял какую-то часть денег, но за вами еще много, подсчитайте-ка!

Бай смеется с издевкой:

— Эха! Теперь понятно, откуда все — казнев много развелось. Ну что ж, посмотрим. Скажу только, что за мной ничего не осталось. Можно прикинуть на счетах, и все станет ясным.

Бай явно хитрит, хочет обмануть батрака, и в душе у меня возникает неприязнь к этому человеку.

Перебегая с крыши на крышу, мы уходим далеко от дома. Как всегда играем, деремся, миримся. Иногда берем под обстрел какой-нибудь байский двор — забрасываем его комьями сухой глины и убегаем без оглядки. Мы — дети нового времени, и не любим баев.

На обратном пути, уже усталые, по своему обыкновению, заворачиваем к мечети и по разу — по два прокатываемся, соскальзывая по перилам лестницы, ведущей на башенку муэдзина. Это тоже одно из наших постоянных увлечений.

А дома меня встречает заплаканная мать:

— Где ты был? Дедушка умер...

Я застыл, смотрю на нее растерянно.

— Правда?! — спрашиваю с дрожью в голосе.

— В минуту скончался. Лишились мы твоего дедушки...

Я заплакал в голос. Не переставая плакать, торопливо надел халат, подпоясался и, босой, опережая мать, побегал в квартал Ак-мечеть.

Дед мой (по матери) умер шестидесяти двух лет. Полный, плечистый, он был еще крепким стариком. Он и болел-то, кажется, всего три дня.

Когда мы достигли калитки дедова двора, несколько человек, печальных, понурившихся, уже подходили с похоронными носилками из мечети. Я с громким плачем вбежал во двор.

Бабушка уже перестала причитать и сидела молча, суровая, с глазами полными слез. Дядя и другие родственники еще плакали. Я припал к дедушке, содрогаюсь от рыданий, обнимал его, целовал и горько-горько плакал. Дед всегда благоволил ко мне, мы были очень дружны с ним, любили друг друга очень.

И вот уже прочитана заупокойная молитва. Мать громко голосит и провожает похоронные носилки до самой улицы.

С кладбища мы возвращались на закате. Войдя в дом, я расплакался, не в силах сдержать слез. Бабушка обняла меня, ласково потрепала по плечу:

— Не плачь, дитяtko. Лучше почитай «напутствие».

Я сажусь и читаю «напутствие». Читаю с чувством, с глубокой скорбью, впервые вот так переполнившей мою юную душу. Потом долго сижу молча, задумавшись. Дедушка еще живет в моих мыслях, в моей памяти.

По перекрестку, обгоняя верблюдов, арбы, извозчиков, промчался автомобиль. Я смотрю ему вслед, раскрыв рот. Спрашиваю, обращаясь к одному из лавочников:

— Видали? Занятная штука!

Лавочники смеются:

— Это автомобиль. Его прислал из Петрограда господин Керенский,— говорит один из них.

— А почему внутри одни женщины?

— Один мужчина есть, ты просто не разглядел. А остальные жены генерала,— смеется лавочник.

Я выражаю сомнение:

— Вы, наверное, не знаете. Я слышал, русские берут только по одной жене.

Лавочник, заложив за губу щепоть насвая, соглашается:

— Верно у русских есть такой закон, или по-нашему канун. Родит, не родит, все равно одну жену только может держать.

— Э-э, ну тебя!— говорит второй лавочник.— Спасибо нашему шарпату, у нас до четырех жен разрешается брать. Сам Мухаммед, пророк наш, столько жен имел, и нам велел.

По тротуару, оживленно разговаривая, проходят два прилично одетых молодых человека, у одного в руке книжка. Я догоняю их, спрашиваю:

— Мулла-ака, что это за книжка у вас?

Молодые люди смеются, один из них, постарше который, замедляет шаг:

— Что, малец, в школе учишься? — И поясняет: — Это сборник поэта Тавалло. Он пишет о темноте, невежестве, о нашей жизни, напоминающей ад.

Я бегу домой.

— Мама, я слышал, Тавалло пишет хорошие, поучительные стихи.

— Э, уходи прочь! Каждый день у тебя новая причуда. Не понимаешь ты, как грудно живется нам. Сидим без грша.

Выручил меня брат Иса. Кое-как выклянчив у него пятьдесят ли, шестьдесят ли копеек, я бегу на Хадру и вскоре возвращаюсь с книжкой Тавалло под названием «Пробивающийся ислам». Ложусь ничком на террасу и принимаюсь читать. Тавалло резко критикует пышные пир-

шествия, разгул и распутство баев, безграмотность, темноту и отсталость народа.

В это время в калитку вбегает Тургун:

— Что ты тут делаешь? Опять стихи? Э, брось ты, идем на перекресток.

Я смеюсь:

— Чудак! Ты слышал о Тавалло! Здорово пишет о темноте, о невежестве, о старых обычаях.

Тургун сердится:

— Друг! Идем, лучше наперегонки попробуем.

— Ладно, завтра. А сейчас садись, я почитаю тебе, — говорю я, листая книжку. — Ну, садись же!

Недовольный и хмурый, Тургун присаживается на край террасы. Я читаю ему:

Когда добрые люди, спасаясь от зноя, наденут
Белоснежные легкие ткани на стройное тело,
Мы не скинем — хоть лопни! — подбитые ватой халаты,
Хотя тело, давно истомившись от жара, взмолело
Под камзолами, что под халатами ватными носим,
Опясав их поясом длинным на восемь размахов!
А штаны до колен обнажают нечистые ноги,
Волосатую грудь открывает без страха рубаха..

Тургун хохочет. Повторяет отдельные строки — стихи сразу запомнились ему.

Внезапно во двор с шумом врывается толпа ребят. Слышатся насмешливые возгласы:

— Вон, посмотрите на нашего заводилу! Тоже начал понимать толк в книгах! Видал, как слушает!

Тургун, подмигнув ребятам, поворачивается ко мне:

— Хватит, друг, убирай свою книгу. Завтра почитаем, если будет время. — И соскакивает с края террасы.

* * *

Отец мой все еще скитается в степи. Поэтому в доме у нас постоянно женщины, одни уходят, другие приходят.

Особенно часто забегает старая учительница, болтливая, обо всем всегда осведомленная женщина. Ее муж торгует в бакалейной лавке в Хумсане, а она ходит по родне, по гостям.

— Была я у родственников, столько новостей! — говорит она матери, занятой тканьем тесьмы.

— Расскажите, послушаем, — говорит мать, не отрываясь от работы.

— Халиф Стамбула, его величество падишах, торжественно, с тысячами тысяч войска, с великим множеством пушек и другого оружия, навьюченного на лошадей и верблюдов, идет походом на Туркестан. А войска Энвер-паша, зятя его величества султана, вели у Стамбула сражение с — как их там — да, с инглизами, с франками. После кровавой битвы он всех недругов с их оружием опрокинул в море. У Турции великое множество всякого оружия, великое множество! А его величество халиф и Энвер-паша такие отважные богатыри, что равных им нет во всем свете. Да... Если его величество халиф со своим войском идет на Туркестан, значит, бог даст, мы скоро увидим его в Ташкенте!..

Подходят и другие соседки. Разговор все больше оживляется. Вот затараторила тетя Рохат. Перевирая то, что слышала от мужа, и прибавляя от себя, она рассказывает об организации батраков, поденщиков и ремесленников. Говорит, что муж ее, Гаффар-ака, пока вступать не решается, боится улемов.

Потом в разговор вступает Сара Длинная:

— Наставница моя говорит, что наступают последние времена. Возможно, скоро явится антихрист Даджал. Почаще, говорит, молитесь богу, не скупитесь на пожертвования.— Потом поворачивается к учительнице: — Атынбуви, вы тут расхваливали его величество халифа? А он сидит себе на своем троне и будто бы о походе сюда и не думает. Слышно, будто его больше интересуют придворные красавицы!..

Учительница злится, возражает, краснея от негодования. Кажется, пусти их, они, как петухи, сцепятся и начнут трепать друг дружку. Я сижу, посмеиваюсь, подтруниваю над ними. Учительница и все соседки гонят меня:

— Милый, вставай, беги на улицу. Зачем тебе сидеть с женщинами?

Огрызнувшись раза два, я отправляюсь на улицу и тут неожиданно сталкиваюсь с Тургуном.

— Что это тебя не видно?

Тургун тихонько шепчет:

— Я к колдунье ходил... мать посылала. Ты же знаешь, она у меня больная, капризная. А сейчас вот мясо несу...

— И правильно, друг! Лучшее лекарство от всех болезней — пища. Если твоя мать будет хорошо есть, она быстро поправится.

— Э, какая там хорошая пища, у нас хлеба нет досыта! Это для колдуньи, мать велела.

Мы с Тургуном идем к ним.

— Хорошее мясо! Я каждый день во сне вижу такое, — смеется Тургун. — А колдунья сделает нарын и весь заберет с собой. Мы еще и курицу зарезали, отец с базара принес, жирная такая курица. Тоже, матери даст кусочек, а остальное унесет домой. Знаешь, когда к дяде вызывали колдунью, резали барана, так она всего унесла. Та колдунья — сильна была! Недавно она умерла. Эта тоже не из последних. Вот посмотришь, она здесь, у нас, в доме сидит, — шепчет мне Тургун.

Я на цыпочках всхожу на террасу и осторожно заглядываю в открытое окно. Больная лежит на постели — голова замотана чем-то белым, а на одеяле сверху пучок тонких таловых прутьев. Колдунья — тонкая, длинная, черная, как эфиопка, глаза косят, сведены к носу, лицо загадочное, в глубоких морщинах, одета во все темное, даже повязка на лбу темная, цвета дохлой уже почерневшей печени, — сидит рядом на подстилке, выбивает в бубен что-то непонятное, покачивается из стороны в сторону, призывно кивает и глухим таинственным голосом зазывает своих покровительниц пери. Одним своим видом она наводит страх на меня.

Сзади тихонько подходит Тургун:

— Ну, как колдунья? Правда, как смерть страшна и рожка противная. Мать упросила меня, я долго искал ее дом и нашел на краю большого яра. Двор темный-претемный, прямо заросли глухие, чашоба. И на цепи три кобеля, каждый с ишака ростом. Я струсил даже. А на террасе три брата — три ее сына, сразу видно бездельники, — сидят, анашой дымят, чилим изо рта не выпускают, в карты режутся, — есть такая игра — карты, знаешь, из азартных самая азартная. Самой колдуньи дома не оказалось. «Сейчас придет, подожди немного. А пока подавай нам чилим!» — говорит мне один из братьев. Ну, подождала, тут и колдунья с какими-то узлами и узелками заявила: Я начал упрашивать ее, умолять. А старуха присела на террасе и прежде всего принялась бранить сыновей: «Подохнуть бы вам маленькими! Бросайте вашу игру, сгинуть ей!» Потом повернулась ко мне. «Вон, тот, говорит, по тридцать второму году, тот шайтан по двадцать восьмому, а вот этому красавчику моему двадцать пять годков исполнилось. Только все они, говорит, бездельники, лентяи и дармоеды. Много есть красивых девушек и каждая рада бы выйти за любого из них, а им, проклятым, больше нравятся холостая жизнь!» «Старая! Каждому делу свое время

и свой час. Я-то, ладно, может и бобылем прожжву, ты лучше своего младшенького жени, если он пожелает. Найди ему хорошенькую, как конфетка, девчонку»,— говорит старший из братьев. Второй поддакивает ему: «Младшего жени, мать, он озоровать начинает, этот твой шеголь». Тут и младший привстал, приподнявшись на локте. «Мамочка,— говорит,— я же маленький, младенец, можно сказать! Впрочем, хорошая девушка, говорят, что брововый воротник, красит человека. Если найдешь такую, ладно, не откажусь.— И ухмыляется.— Только, говорит, условие мое такое: каждый день ты должна подсыпать мне в карман звонкой монеты!». Колдунья, ткнув в одну, в другую ноздрю щепоть насвая, чихнула раза два: «Апчхи, апчхи!»— потом и говорит: «Ну, я пошла. А вы тут самовар поставьте себе. Есть горячий, с мясом плов, его поешьте». И пошла со мной.

— Вот, такие-то дела, друг, канитель одна,— говорит Тургун.— Вон, колдунья уже вскочила, вопить начала. Вот подлая! Смотри, смотри как быстро вертится, настоящая ведьма!

Я рассмеялся:

— Верно! Это она, видно, пери и джинов изгоняет. А ты правду сказал: противная, страшная старуха. Только, по-моему, все это один обман.

— Смотри, смотри! — зашептал Тургун.— Уже матери на спину уселась!..

Завывания колдуни вызывают у меня отвращение и страх, я выбегаю на улицу.

* * *

Я сижу в приземистой кузнице на нашем перекрестке. Кузнец, худошавый человек с морщинистым лицом, с реденькой бородой и широким, потемневшим от пота и огня лбом. Подручным у него — здоровенный, крепко сколоченный парень, одетый зиму и лето в старый рваный чапан.

Кузнец, выхватив из горна кусок раскаленного железа, бьет по нему молотом, вытягивает, плющит и опять сует в огонь. Подручный старательно раздувает мех. Куски железа под молотом кузнеца превращаются в кетмени, топоры, подковы, гвозди для арб и прочие необходимые в хозяйстве вещи.

Между делом кузнец рассказывает разные истории, жалуются на трудности жизни.

Железо, свет мой, пророк Давид нашел и расплавил

его, как ртуть,— говорит он.— Ну да, огонь, говорят, зубов не мает, сухое ли, сырое — не разбирает. После пророк Давид сделал из железа лемех для плуга, кетмень и дал их своей общине. Он был искусным мастером и владел многими тайнами.— И, помолчав, продолжает:— Небо, судьба, только и знает устранять всякие каверзы. Но есть пословица: если на долю кому достался пир, его не миновать, не в лето, так в зиму, а пировать. Времена меняются, братец, придет день, и бедняки, голодные, неимущие увидят свет. А ростовщикам, пузатым баям не миновать возмездия за все их преступления. Если на свете есть правда, так оно и будет. Правда, справедливость, племянник, великое дело. К примеру, русские мастеровые уже подняли головы, говорят, власть должна быть нашей. Так что, обязательно выйдем на свет, племянник.

Я слушаю его, не перебивая. Неожиданно в кузницу входит приятель кузнеца, плотник, он высок ростом, у него густая, с проседью борода, густые брови, хитроватые глаза.

— А-а, как дела? Что не показываетесь? — спрашивает кузнец.

— Новостей много,— отвечает плотник.— Вот союз ремесленников каждый день собирает собрания. А улемам это не нравится. Досточтимые улемы пугают всех муками ада, грозят, мол: «Разогнать надо этот союз отступников, подлецов и мерзавцев! Самосуд учинить над ними, камнями побить!»

— Ну, почтенные улемы, они блюдут свои интересы, это ясно. Им до народа дела нет,— говорит кузнец.— А что союз ремесленников сколотили, это, по-моему, хорошо, времена меняются...

Подручный кузнеца отлучился куда-то. Я становлюсь на его место, раздуваю мех и прислушиваюсь к беседе приятелей. Кузнец продолжает бить молотком по кетменю так, что звон, наверное, слышен до самой Балянд-мечети. Плотник присаживается на завалинку. В руках у него сумка с несколькими горстями маша, он бережно кладет ее на колени.

— Новостей много, друг,— говорит он,— только прекрати ты хоть на минуту свой стук-перестук.

Кузнец смеется:

— Ладно, приостановим работу. Рассказывай.

— Говорят, и на фронте и в Петрограде волнения. В Ташкенте вот тоже беспокойно. А кокандские баи вкупе с интеллигентами-джадидами, слышно, болтают насчет «автономии».

— А кто такие — интеллигенты? — спрашивает кузнец.
— Интеллигенты, что ли? Да... не знаю, и сам как сле-
дует не пойму. Судя по рассказам, интеллигенты — это лю-
ди ученые, образованные.

— А значит, куцехвостые, щеголи! — смеется кузнец.

— Не знаю, куцехвостые — не куцехвостые, а говорят,
они ученые, — твердит плотник.

— Ну ладно, рассказывай дальше, — просит кузнец.

Плотник подсаживается поближе к нему. Говорит:

— Был я в новом городе. На обратном пути ненадолго
задержался в саду, который с аллеями. Ну, ты знаешь сам,
где это. Народу там — тьма! И солдат порядочно. На три-
буну один за другим выходят мастеровые, речи держат.
Говорят: «Долой Временное правительство, оно поддержи-
вает богачей! Заводы, фабрики, земля, вода — все наше!»
Люди кричат им: «Молодец! Ура!» Речи держали по-рус-
ски, я кое-что сам понял, а чего не понял, узнал от стоящих
рядом.

— Мастеровые, они знают, что к чему! — говорит куз-
нец. — Значит, говорят, что фабрики, заводы, земля долж-
ны быть отданы нам — правильные речи.

Я выхожу из мастерской и бегу прямо к Тургуну:

— Давай, пошли в город! — и рассказываю коротко о
том, что слышал.

Мать Тургуна сердится. Кричит с террасы:

— Дров накопи, провалиться тебе!

— Я сейчас, — говорит Тургун.

Мы выходим на улицу. Здесь в разгаре игра в мяч. Тур-
гун командует:

— А ну, друзья, в город!

Ребята бросают игру и присоединяются к нам. У Ба-
лянд-мечети мы держим совет. На трамвай без денег не
сядешь, билетер увидит, задаст добрую трепку. Можно
прицепиться к арбе. Потом, если действовать осмотритель-
но, и на извозчике можно прокатиться, прицепившись сза-
ди. Мы отбираем из всех ребят шесть порасторопнее, а ос-
тальных отправляем по домам. На первую попутную арбу
прицепились мы с Агзамом. Тургун прицепился к коляске
извозчика. Остальные отстали. Проехали немного, смотрю
Тургун пластом упал на землю, видно кучер кнутом достал.
Я подаю ему знак.

Но тут и нас арбакеш заметил, кричит, грозясь прутом:

— Пошли прочь, озорники!

Мы с Агзамом вовремя прыгиваем и тем спасаемся от
прута.

— Ну как, Тургун, схватил прута? — спрашивает Агзам.

Тургун хмурится:

— Чутьочку задело. А тебе не досталось?

— Ладно, хватит болтать! — говорит Агзам. — Потопали на своих!

Так, поддразнивая друг друга, мы добираемся до Шейхантаура. Ненадолго присаживаемся на корточки в тени какой-то лавочки передохнуть. Вскоре Тургун сумел подкатиться к какому-то арбакешу и взобрался на арбу. Мы с Агзамом пошли пешком.

— И вас бы посадил, — сочувствует нам арбакеш, — да груза много, светы мои.

Доходим до Урды. Тургун уже стоит на мосту, дымит папиросой, поджидая нас.

— На, покури! — предлагает он мне. — Это папиросы «Роза». Какой-то русский старик бросил, не докурив, а я подобрал.

Агзам вырвал из рук Тургуна папиросу и швырнул в реку.

У моста много мелочных лавок и мастерских. Внизу, у самой реки, чайная с харчевней. Из харчевни доносится запах шашлыка и жареного мяса.

— Мы дошли до границы, — говорю я, присаживаясь на край моста. — Дальше новый город.

Тургун засмотрелся в сторону харчевни.

— Хороши пирожки, бой-бой! — говорит он с завистью. — Когда стану большим, вот посмотрите, обязательно открою харчевню! И тогда, будьте спокойны, зазвонит у меня монета-серебро. Агзам будет поддерживать огонь в очаге, Муса подавать кушанья, а я, как хозяин, восседать на почетном месте. Мое дело — деньги подсчитывать...

Агзам обиделся и — хлоп Тургуна по скуле. Тургун тоже вскочил было, но я встал между драчунами и развел их.

Мимо проехал отряд конных солдат с винтовками. Солдаты хмурые, суровые.

Мы пошли дальше, шагая по трамвайным путям.

— А русские ребята нас не застукают? — вдруг спрашивает Агзам.

Тургун отвечает:

— Русские ребята хорошие, дети рабочих нас не тронут. Как-то иду я здесь с мешком пшена на загорбке. Весь взмок от пота, отдыхаю на каждом шагу. Вдруг, смотрю,

ТА догоняют меня двое каких-то русских парней, оба просто одетые, один в грязной шапчонке, лет пятнадцати, но рослый и крепкий, другой — поменьше. Посмотрели они на меня и видно пожалели: какой побольше, подходит, показывает на мешок и говорит: давай, говорит, мне. Я стою, не знаю, отдавать, не знаю, нет. Потом решился все-таки, отдал. Рослый вскинул мешок на спину, пошли мы. Он что-то говорил, да я не понял, только знал твердил: «Испасиба! Испасиба!» Это отец научил меня, мол: скажешь «испасиба» и все будет хорошо. Так вот, несут они мой мешок, вскидывая на спину по очереди. Дошли до Карьягды. Русские ребята, мол: вот и старый город, передали мне мешок. Я вскинул его на спину и здорово благодарил их, повторяя свое «испасиба».

— А еще какие русские слова знаешь ты? — спрашиваю я Тургуна.

— Знаю слова «хорошо», «товарищ», — улыбается он.

Когда солнце уже перевалило за полдень, мы, усталые, добрались до Пьян-базара (так называли Воскресенский базар). Тургун, он бедовый, сразу же узнал новости.

— Митинг в Александровском саду, похоже, уже подходит к концу, — говорит. — Рабочие говорят: раздавим буржуев!

— А что такое буржуй? — спрашивает Агзам.

— Буржуй — это такая штука... ну... вроде купца или барышника что ли.

...На митинге в Александровском саду большинство русских, но есть и мусульмане. Когда мы подошли, на трибуну взошел просто одетый, но ладно сложенный человек, смугловатый, с коротко подстриженной бородой. Он горячо говорит о насилии, жестокости, несправедливости. Я слушаю, затаив дыхание. На ярких примерах оратор показывает, как тяжело положение трудящихся, в какой роскоши, разгуле живут баи и заканчивает свою речь словами:

— Страна наша добьется свободы, права и справедливости. Мечты народа непременно сбудутся!

В толпе со всех сторон слышатся одобрительные возгласы. В это время к нам подходит знакомый каменщик.

— Хе, что вы тут делаете? — спрашивает он. — Идите домой, заблудитесь еще.

— Мы на митинг пришли, — отвечаю я. — Жаль только, он уже кончается.

— Что-нибудь интересное говорилось? Расскажите, дядя! — просит каменщика Тургун.

— Мастеровые говорят: долой баев,— отвечает каменщик.— Временное правительство, говорят они, поддерживает богачей, потому что и Временное правительство и богачи — одна напасть.

Неожиданно заговорил довольно бедно одетый молодой рабочий узбек, стоявший рядом с нами.

— Пойдите, братец,— негромко сказал он, обращаясь к каменщику.— Я так слышал: все рабочие, все бедняки, трудящиеся собираются сейчас вокруг большевиков. Это люди из рабочей организации. Среди них есть немало и рабочих-мусульман, батраков, бедняков, ремесленников. Слыхали вы о таких людях, как Шер Халмухамедов, Султан Касымходжаев, Абдушукур Абдурашидов — все они вместе с большевиками. Большевики, они заботятся о народе, они говорят: все фабрики и заводы, какие находятся в руках богачей, должны быть конфискованы и переданы трудовому народу.— Рабочий заговорщицки подмигнул нам.— Ха, дел тут много, братишки! На митинге рабочие требовали, чтобы земля, вода были отобраны у баев и переданы беднякам и батракам. Ораторы, какие выступали с речами, говорили: ячмень, пшеница, словом, всякое зерно, припрятанное баями, должно быть отобрано и роздано народу, трудящимся. Вся страна, вся власть должны перейти в руки рабочих, батраков, бедных дехкан — в руки народа.

— Хвала русским рабочим, они откроют нам глаза! — говорит каменщик.

— Да, мастер. И рабочие и солдаты — все решительно требуют: «Долой Временное правительство! Вся власть Советам!» Сейчас в Ташкентском Совете немало большевиков. В Петрограде, я слышал, рабочие взяли в руки оружие. Здесь тоже будто бы тайно вооружаются...

Я слушаю его с вниманием. Хотя я и мал был, но уже стал понимать кое-что, так как за последнее время разговоры о баях, бедняках, о Временном правительстве, о власти велись всюду.

Начинало темнеть. Поблагодарив рабочего, мы отправились домой и в темноте еле-еле добрались до своего квартала.

Мать, бедная, уже беспокоилась за меня.

— Ох и много новостей, мама! — говорю я, входя во двор и опускаясь на корточки у арыка, чтоб помыть руки.— Мы в городе были...

Мать сердится:

— Совсем ты бродягой стал!

— Мама, есть! — говорю я, присаживаясь на край террасы.

Мать приносит машевой каши.

— Буржуев уже водой подмывает! — говорю я.

— А кто такие буржун? — спрашивает мать, подсаживаясь ко мне.

Подумав, я отвечаю:

— Русские баев называют буржуями!..

* * *

Я отправляюсь на базар купить насвая для матери. Проходя мимо напоминающих птичьи клетки лавчонок тюбетечников, вижу тесную землянку, битком набитую людьми. Оказалось, это союз ремесленников, штукатуров, поденщиков. Я тоже просунул голову в землянку. Почти у всех собравшихся здесь одежда рваная, латаная, многие босиком или же в старых чариках. Напротив входа за столом, сколоченным из неотесанных досок, сидит президиум — из пяти-шести человек.

Оратор — видный из себя крупный человек с белой бородой и умными глазами, поблескивающими из-под кустистых бровей. На нем легкий халат без подкладки, надетый поверх белой чистой рубахи, на голове тюбетейка темно-зеленого бархата.

— Кто это? — спрашиваю я у одного паренька, пригнувшегося к двери.

— Это Ачил-ака, — шепотом отвечает паренек, — голова ремесленников.

Ачил-ака, обливаясь от духоты потом, говорит внушительно, подчеркивая каждое слово и перемежая речь понятными примерами, пословицами, поговорками.

— Друзья, товарищи! Дело такое: время теперь наше. Но чтобы добиться своих прав, достигнуть своих заветных желаний, нам — всем ремесленникам, штукатурам, поденщикам, всем трудящимся — надо объединиться и сплотиться с русскими друзьями-мастеровыми. Рабочие Петрограда говорят: заводы, фабрики, земля, вода, словом все должно быть отобрано у баев, потому что все это принадлежит трудовому народу. Русские рабочие Ташкента, объединившись, стали могучей силой. Они создали свой Совет и уже крепко работают. Мусульманские баи, с одной стороны, досточтимые улемы, с другой стороны, обманывают народ, выставляя вперед веру ислама. Товарищи! Если мы объединимся с русскими рабочими, и дружными усилиями прогоним Временное правительство, мы избавимся от насилия и жесто-

кости баев, купцов, добьемся свободы и счастья. Наш долг — показывать дорогу трудящимся, руководить ими в этой борьбе.

Слышатся возгласы:

— Правильно! Правильно!

Ачил-ака долго говорит о тяжелом положении рабочих, о хитрости и коварстве улемов, баев. Затем выступают еще три-четыре человека, они тоже говорят о трудном положении ремесленников, бедняков, неимущих, о необходимости объединиться всем трудящимся.

Средних лет человек с коротко подстриженной бородой сказал:

— Говорят, надо объединиться улемам, баям и всем трудящимся и встать под знамя веры ислама. Говорят об автономии Туркестана. Они хотят обмануть нас пустыми словами и снова накинуть петлю на шею. Товарищи, будьте настороже! Давайте вести дело в дружном согласии всех трудящихся, всех рабочих и бедных дехкан с русскими рабочими, чтобы быть с ними как одно тело и одно сердце!

Потом с речью выступил какой-то смахивающий на джадида шеголеватый человек в чесучевом камзоле, в новой бархатной тубетейке, с золотыми очками на носу. Он начал с истории и долго зудел насчет «величия Тимура», насчет «золотой земли Туркестана».

— Господа! — кричал он. — У всех у нас одна вера, один бог, один пророк с его сподвижниками. Мы есть племя тюрков, история наша светом озарена, прошлое наше, слава и честь наши велики. Конечно, нельзя сказать, что у нас нет скупых баев, и мы молим аллаха, чтобы он наставил их на путь справедливости и чести. Если мы объединимся дружно, даст бог, возродится наше счастье. Самоуправство недопустимо, надо подчиняться Временному правительству нашему и верно служить ему. Господа! Наши наставники улемы и...

В землянке поднимается шум, слышны выкрики:

— Довольно! Довольно!

— Хватит болтать, байский хвост!

— Да он и сам из купцов! Валяй отсюда, пошелкивай копытами!

Оратор пытается продолжать, но люди уже не слушают его, ропот усиливается. Оратор бледнеет и дрожит весь то ли от страха, то ли от бессильной злости.

Взмокший от пота, я кое-как выбираюсь из землянки наружу. Покупаю в табачном ряду насвая, затем отправ-

ляюсь к знакомому еврею, продавцу шелковой пряжи, купить шелку по наказу матери.

* * *

Осень. Медленно падают листья. Ночи уже холодные, с заморозками. Прошли два-три дождя. Но сегодня прояснело, голубеет небо.

Отец приехал из Янги-базара и, кажется, надолго. Он каждый день доставляет домой дрова, уголь, сало, маш — все необходимое по хозяйству. Цены поднялись невиданно, — весной не было дождей, не уродились пшеница, ячмень. Отец купил джугары.

Утром после чая я сел на иноходца и поехал к оврагу. В овраге заросли талов, карагача. Тишина. Я отпустил повод, жду, когда напьется конь. Внезапно в воздухе прогремело несколько винтовочных выстрелов. Что бы это значило? В новом городе, что ли? А кажется, что стреляют где-то неподалеку.

Когда я выехал из оврага, перестрелка участилась. Подстегнув коня, я скачу к перекрестку. Лавочники, посетители чайханы тревожно переглядываются между собой: «Что такое?»

Вернувшись домой, я торопливо привязываю коня в конюшне.

— Что еще за напасть? Из ружей стреляют будто? — говорит занятая стиркой мать.

— На гузаре, говорят, это восстание...

Мать растерянно оглядывается. А я опять бегу на перекресток. Люди здесь в тревоге. Никто ничего не знает. Лавочники, ремесленники закрывают лавки, мастерские. Но в чайной народу полно. А перестрелка все разгорается.

Извозчики, нахлестывая лошадей, катят со стороны нового города. А туда один за другим бегут пустые трамваи.

— Восстание! Большое восстание! — отвечая встречным, кричат едущие на извозчиках.

* * *

Я шныряю всюду, прислушиваюсь к разговорам. В полдень отправляюсь домой. Стрельба в новом городе не стихает, наоборот, все больше набирает силу.

— Мама, новостей сколько! — говорю я, присаживаясь на террасе. — Идет восстание. На одной стороне Временное правительство с баями, на другой стороне рабочие, бедняки.

— Слыхала уже, приходила учительница, рассказыва-

ла, — говорит мать. — В России есть город — как-то он там называется? — так он целиком перешел в руки рабочих.¹²

— Петроград называется тот город! — подхватываю я. — Революция оттуда началась. Не знаю, говорят: «революция», «революция». А мастер говорит: «Это солнце свободы, братец!»

Вечером прибегает Тургун.

— Мусабай! Идем, быстро!

— Что случилось, друг? Где ты пропадал? — с тревогой спрашиваю я. — Идет восстание, слышишь, стреляют из ружей?

— Э, друг, ты сам сидишь тут, забился в дом. У меня уйма новостей! — говорит Тургун, облизывая губы от волнения.

Я заинтересовался, тороплю его:

— Ну, давай, рассказывай!

— Мы отравились за город к тетке. Далеко, верст двадцать-тридцать будет. Ну, пришли, попили чаю, потом начали собирать опавшие листья. Понимаешь, моему телку — я выпросил его у дяди — нужен корм. А там много опавших листьев, сколько хочешь мешков можно набрать. Ну вот, вдвоем с отцом смели мы листья в кучи большой метлой. Рядом большой арык воды бежит. В нем полно рыбы, я сам видел. Жаль, удочки не было со мной, а то — ух и наловил бы!..

Я перебиваю нетерпеливо:

— Вот, дурень! Хватит тебе, развел болтовню!

— Друг! Потерпи, послушай, ты же сам перебиваешь. Вот так мы почти три дня собирали опавшие листья. Потом отцов приятель, старый его знакомый, дал нам большущий, в обхват, арбуз. Другой знакомый дехканин дал фазана. А муж тетки подарил мне нож, такой острый! Я дома спрятал... чтоб не затупился...

— Ну и болтун же ты! Тянешь, тянешь, — сержусь я.

— Э-э, как раз дошел до самого интересного, а ты опять палку вставил, дурень! Ну ладно, слушай. Так вот, отец и говорит: сегодня уже поздно, переспим эту ночь, а завтра отправимся. Тетка жирную лапшу приготовила. Я здорово наелся. Вечером зять — муж тетки — с отцом долго говорили о прошлом, о бедности, о Временном правительстве, о баях, бедняках-неимущих. Старик многое знает о батраках-мусульманах и русских рабочих. Утром чаю попили с густым каймаком. После чая вместе с отцом сложили листья в угол сарая. Отец, бедняга, туго-натуго набил листьями большущий чувал, завязал его, потом вскинул на

спину и обмотал веревкой крест-накрест через грудь. Тетка дала мне порядочно джиды, большую тыкву и еще сюзмы прибавила. Ну, попрощались мы с зятем, с теткой, пообещали через неделю прийти за листьями и отправились в дорогу. Долго шли. Отец совсем утомился: очень много листьев натолкал в чумал. Часто отдыхая, мы в полдень едва-едва добрались до нового города. Смотрим, на улицах никого. Только время от времени слышно стреляют где-то: «Бах-бах, бах-бах-бах». Да кучки солдат, пригибаясь, пробегают куда-то. Редко-редко какой-нибудь случайный прохожий попадется. Идем с опаской, оглядываемся по сторонам. Русские женщины запирают двери, ставни на окнах. А старики, выглянув наружу, кричат: «Хей, уходите! Скорее добирайтесь до дому. С ума, что ли, сошли, держитесь ближе к домам, стрельба идет!» Отец растерялся, стоит, как вкопанный. А я держусь смело, объясняю ему: «Идем, говорю, это восстание началось. Я же говорил вам, что рабочие не дураки, что они еще покажут буржуям!» Долго кружили мы по всяким обходным улкам-закоулкам. Вдруг, смотрим, рабочие: у всех в руках ружья, лежат, за деревьями прячутся и — бах-бах! — стреляют. И солдат между ними порядочно. Какой-то мусульманин кричит нам: «Эй, друг! Что вы тут делаете? Еще под пулю попадешь. Валяйте отсюда!» Мы свернули в затишек. Всюду среди рабочих видны и мусульмане с ружьями. Они подшучивают над отцом: «Какие могут быть листья в такой суматохе?» А один кричит сердито: «Уходите отсюда, да побыстрее!» Долго шли мы, виляли туда-сюда, смотрим, а под деревом лежит раненый. Подзывает отца, стонет: «Воды, воды!» Я положил на землю все, что у меня было в руках, сбегал, принес воды в тубетейке, напоил его. Он благодарит: «Спасибо, спасибо! Молодец!» — и показывает рукой: иди, иди, мол, уходите скорее. Перебегая с улицы на улицу, а потом переулками позади сада князя, выбрались на Урду, и только на закате солнца добрались до дому. Так-то, друг. Считаю, что Временное правительство скovyрнули сегодня.

Я тоже рассказываю Тургуну, что видел и слышал.

— Это, — говорю, — революция, друг. Великая революция!

— А что такое революция? — спрашивает Тургун.

Я объясняю как умею:

— Революция — это когда свобода, воля. Когда настает время трудящихся.

Бой продолжался четыре дня. Ставленники Временного правительства, казаки, богачи сопротивлялись ожесточен-

но, но рабочие, солдаты, трудящиеся мусульмане в конце концов взяли верх. Реакционеры во главе с генералом Коровиченко заперлись в крепости и пытались оказывать сопротивление. Но рабочие и солдаты, окружив крепость, вынудили контрреволюционеров к сдаче.

Утром я вышел на базарчик на нашем перекрестке. Всюду толпы народа, чайные переполнены. Люди, взволнованные, радуются, обмениваются новостями:

— Революция!

— Революция, друзья!

— Ташкентский исполком, вся власть перешла к рабочим и дехканам!

— Вот и мы увидели свет!

— Взяли свои права!..

* * *

Я почти все время нахожусь среди кузнецов и ремесленников нашего перекрестка. Всюду радость, праздник. Ни у кого руки не поднимаются работать.

Особенно часто друзья заглядывают к сапожнику Гуляму-ака.

— Уф! — устало вздохнув, рабочий хлопкового завода присаживается на низенькую табуретку.

— Так, говорят, ты здорово дрался. А ну, рассказывай! — торопит его мастер.

Гость закуривает папироску, делает несколько глубоких затяжек. Откашливается.

— Разговору много, братец. Четыре дня бились мы. Вай-буй, очень жестокий бой был. Но в конце концов мы одолели! — говорит он с гордостью. — Русские рабочие — это настоящие люди, крепко стояли, и вот, наша взяла. Мусульмане тоже неплохо дрались, все мы вместе опрокинули врага.

Мастер торопливо собирает обрезки кожи.

— Ну-ну, рассказывай, рассказывай, братец, а мы слушаем, — говорит он.

Рабочий ненадолго задумывается, рассказывает о том, что видел. Потом улыбается добродушно:

— В новом городе сейчас большой праздник, мастер. На улицу вышел весь народ, много рабочих, солдат. Что вы засели тут в своей норе, идите в город и сами посмотрите, — говорит он и кивает на улицу: — Видите, вон они, герои!

По улице проезжает группа конных. Среди них извест-

ный большевик Низаметдин Ходжаев. У всех всадников винтовки, у Низаметдина револьвер.

Мастер выглядывает на улицу, а когда конные проехали, говорит рабочему:

— Низаметдин — истинный боец, видал, как он сидит на коне! В городе все любят его от малого до старого. — И помолчав, прибавляет: — Надо сказать, он очень грамотный молодой человек, по-русски так и режет. Учился потому что!

Рабочий улыбается:

— Да, Низам по-русски здорово говорит. — И опять начинает рассказывать про уличные бои. — Бились жестоко. Война — это не шутка, братец. Прилетит какая пуля — и кончено дело. Вот, мы человек девяносто товарищей похоронили. Все руководители на похороны пришли, все коммунисты. В крепости из пушек падали, и все мы попрощались с ними, преклонив колени. Пели «Вы жертвою пали». Я не мог сдержать слез, заплакал, очень хорошие джигиты были...

— Что ж, братец мой, без жертв победы не добудешь. Пролитая ими кровь священна. Мы будем хранить их всех в своей памяти... — говорит сапожник, низко опустив голову.

— Всего доброго, мастер! Пойду, проведу свою старушку, беспокоится, наверное, бедняга, — поднимаясь, говорит рабочий. — И Россия и Туркестан избавились от засилья богачей, а может ли быть счастье больше?! — Он улыбается и, попрощавшись, уходит.

— Хороший джигит и смельчак, наверное, — говорю я, обращаясь к мастеру.

— Если бы не было таких героев, жизнь стала бы адом, свет — тьмой! — говорит он, хлопая меня по плечу.

* * *

У всех на устах слово «революция». Бан, землевладельцы, богачи — все в страхе попрятались по своим норам. На улицах люди труда, молодежь, подростки, слышатся песни, смех...

Я стараюсь поспеть всюду и с волнением слушаю рассказы о событиях в Петрограде, о записе «Авроры», о штурме Зимнего дворца, об аресте Временного правительства, о побеге Керенского. Об удивительной жизни Ленина. О том, как он скрывался в Финляндии, а затем тайно вернулся в Петроград, с каким восторгом встретили его рабочие, солдаты. Все это я слышу от народа. У всех на устах: «Ленин! Ленин!» Ясным солнцем входит Ленин в нашу жизнь и на-

вечно поселяется в сердцах трудового народа. Самое сокровенное место занимает Ленин и в моем юном сердце.

Дома я с радостью говорю матери:

— Мир залит светом, мама! Взошло солнце свободы, революции.— И смеюсь весело: — А бай попрятались по своим норам!

— Настал и для них час возмездия! — сурово говорит мать.

* * *

Каждый день я встречаю веселых шумных ребят, выбегающих из новой школы на Хадре. Я завидую им, мечтаю учиться вместе с ними.

Однажды мне повстречался наш сосед по кварталу Акбар-ака. Он один из тех, кто закончил русскую школу в новом городе. Я часто видел его сидящим у своих ворот с русской или узбекской книгой. Иногда присаживался рядом и слушал, а он читал вслух.

— Ну, ты что шатаешься? — спрашивает меня Акбар-ака рокочущим басом.— На Хадре открылась новая школа, хочешь там учиться?

— Эх, вот бы! — вырвалось у меня.— Если вы поведете меня, буду учиться. Это мое давнее желание! — торопливо отвечаю я.

Акбар-ака сметеся:

— Хорошо. Учись, учись, человеком станешь. Завтра утром я буду ждать тебя на Хадре.

Я со всех ног бегу домой. Решительно заявляю матери:

— Я поступаю в новую школу. Хватит, со старой школой кончено!

Мать откладывает в сторону тесьму, говорит серьезно:

— Время переменялось. Новому времени подходит новая школа, учись, сын мой. Что до отца, ему все равно, где бы ты ни учился. Отец твой тоже стал понимать новое.

На следующее утро я вне себя от радости бегу на Хадру. Перемахнув через ступеньки сторожки у ворот, врываюсь во двор. Во дворе играли мальчишки большие и малыши. Были здесь и франтоватые кичливые сынки баев. Но большинство составляли дети людей труда.

Из двери здания вышел Акбар-ака с какой-то круглой штукой, окрашенной в коричневый и голубой цвета.

— А, пришел? Ну, идем! — говорит он, подзывая меня.— Ты видел когда-нибудь земной шар? Вот это глобус, модель земного шара.

Акбар-ака ведет меня в канцелярию школы. Там сидят

несколько видных из себя престарелых русских учителей и несколько учителей из узбеков и татар, скромно одетых.

Поставив глобус, Акбар-ака говорит мне:

— Ну, садись.

Я стыдливо подсаживаюсь к столу. Он кладет передо мной листок бумаги, ручку и начинает что-то диктовать, а я пишу красивым каллиграфическим почерком. В комнату входит приземистый человек, он смотрит на мой почерк, хвалит:

— Ты красиво пишешь! — Спрашивает: — А арифметику знаешь?

Я краснею:

— Цифры писать умею, а действия не знаю.

— Старая школа учит только вере да шарияту, — смеется Акбар-ака. — Пойдешь во второй класс, арифметики не знаешь. — Он поворачивается к тому, приземистому. — Так, да?

Каюм-ака достает из шкафа и подает мне тетради и ручку. Я выхожу из канцелярии и иду искать второй класс. В классе и большие ребята и совсем маленькие.

На первый урок пришел русский учитель по рисованию. Мы все разом встали, приветствуем его, потом садимся. Учитель кладет на стол шляпу. Говорит по-узбекски:

— Начинаем рисовать, дети!

Я раскрываю тетрадь и с радостным волнением жду, что скажет учитель.

В новой школе много учителей. Мы изучаем родной язык, арифметику, естествознание, географию.

Незаметно я и ростом вытянулся. Меньше стал озорывать, увлекаться играми. Полюбил газету «Иштиракиюн» («Коммунист») и в ней революционные стихи. Стихи стали моей жизнью.

Я собираю целые тетради стихов. Читаю. Сам пишу. Дум и мечтаний — целый мир!.. Новый светлый мир!